



Анатолий Росич

Вой

Анатолий Росич

Вой

«ЛитРес: Самиздат»

2015

Росич А. Г.

Вой / А. Г. Росич — «ЛитРес: Самиздат», 2015

Роман «Вой» – первая книга трилогии Анатолия Росича о «герое нашего времени». Сергей Грохов – умный, талантливый парень – становится «интеллигентным» бандитом. Борьбу за сохранение души в бездушно-меркантильном мире он постепенно превращает в ИГРУ, которая, в конце концов, становится смыслом его жизни. Зэк и отшельник, ловелас и политтехнолог, «добрый разбойник» и хитроумный игрок, режиссирующий кровавые разборки между властными кланами... Все это один и тот же человек НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
1	5
2	8
3	13
4	17
5	22
Глава 2	27
6	27
7	32
8	35
9	41
Глава 3	45
10	45
11	54
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Часть первая

Глава 1

1

Все хотели куда-то ехать. И селяне – в большие красивые города или хотя бы на комбайновый простор полей; и простые горожане – если не к большой соленой, то хотя бы к малой пресной воде; и государственные люди – если не на чужеморские курорты, то хотя бы в отгорожено-чистые заслуженно-оздоровительные учреждения на отечественном черноморском берегу. Время было такое – июль.

Часть народных избранников второго в XXI веке парламентского созыва с глобальной озабоченностью на лицах еще ходила на работу, но многие уже тихонько уезжали. Оставалось несколько дней до парламентских каникул и всего несколько коротких, как короткометражный фильм, летних ночей, а дальше будет лучезарно-многосерийный полуторамесячный отдых...

Депутату Государственной Думы Виталию Слепцову в эту ночь было не до отдыха. Случилось ЧП – да еще какое! Его, государственного человека с двадцатилетним стажем, закаленного как в публичных, так и в подкованных делах большой политики – взяли и ограбили. Отобрали портфель, в котором было ни много ни мало – 200 тысяч долларов! Элементарно, грубо, оскорбительно, средь бела дня!

– Средь бела дня! В центре Москвы! Грубо, тупо, нагло!.. – возмутился Слепцов, рассказывая историю ограбления своему думскому другу-колеге, бывшему ученому-физику Алексею Потылицыну. – Хотя слово «грубо» здесь неуместно. И слово «тупо» тоже. Нагло – да. Но не грубо и не тупо, а наоборот, тонко, изысканно, изящно, блять...

Было около полуночи – время, когда государственные люди становятся обычными людьми, сбрасывают с плеч, точнее, с лиц строгий образ охранителей общественных интересов и могут, наконец, спокойно подумать и поговорить о личном.

Виталий Степанович, сидя в кресле своего неприслушиваемого кабинета, стал поглаживать большую лысину на темени. Для знающих его и для него самого это означало, что он успокаивается. ЧП произошло еще в первой половине дня, поэтому было время остыть от праведного накала соответствующих чувств, успокоиться (мыслью, конечно, а не сердцем – с таким беспределом депутатское сердце смириться не могло). Только к ночи он смог перейти от бурлящего негодования к спокойным размышлениям, к поиску ответа на классический вопрос: что делать? Как искать злоумышленников, позарившихся на неприкосновенность депутатского портфеля?

Вряд ли Потылицын мог помочь в решении этого вопроса, но он всегда мог внимательно выслушать (редкое явление среди политиков, для которых важнее говорить, чем слушать), трезво порассуждать – бывший физик-ядерщик всегда был спокоен, как нерасщепленное ядро, вокруг которого в бешеном ритме вращаются всякие необузданные частицы. Кроме того, Слепцов знал, что ему можно доверить многие тайны думского двора.

Это было уникальное ограбление – не только по дерзости (налетчики наверняка знали, кто такой Слепцов), но и по технологии.

Верный, тысячу раз проверенный помощник Слепцова Михаил Крепышин вместе с не менее надежным водителем везли портфель по определенному адресу. 200 тысяч долларов предназначались нужному человеку за содействие в открытии офиса в пределах Садового кольца. Вооруженный пистолетом Крепышин, конечно же, вез деньги не в администрацию, а на квартиру посредника. Но получилось, что приехал совсем не на ту квартиру. По дороге ему кто-то позвонил и чистым, стопроцентным голосом шефа, то есть, самого Слепцова, дал указание ехать к другому дому, на другую квартиру. Как только Крепышин вошел в подъезд этого другого дома, причем, в соответствии с правилами, не один, а вместе с водителем, какой-то человек, прикинувшись бомжем, какой-то жидкостью из какого-то баллончика их обоих мгновенно усыпил, забрал портфель и скрылся. До этого они видели у парадного другого бомжа – видимо, грабителей было двое.

Фантастический грабеж. Кто-то мастерски сымитировал его голос. Кто? Кто знал, что Крепышин везет деньги? Как вычислить этого имитатора? Полдня и вечер вдобавок Слепцов мучился поиском ответов на эти вопросы. Мучений добавляло сознание своей беспомощности – это был невиданный удар по самолюбию. Как такое могло случиться? Его, Слепцова, одного из влиятельнейших депутатов Госдумы, а фактически – вся России, так просто развели? Обчистили, как обычного лоха из народа! Мучительно, мерзко переживать такое унижение – он уронил свой статус в своих собственных глазах. А это важнее, чем в чьих-то других глазах.

Он решил рассказать о случившемся пока только Потылицыну – тот, по крайней мере, болтать не будет, а может, и подскажет, что делать. Все-таки две головы лучше, чем одна, тем более, сраженная самоуничтожением.

55-летний Алексей Потылицын – вопреки ученым стандартам не лысеющий, а лишь с легкой сединой на висках, с приветливыми серыми глазами, аккуратными усиками – выслушав рассказ, докурив сигарету и, скривившись, заметил:

– Какая гадость! Никак не могу бросить.

– Алексей Фомич... Что ты по этому поводу думаешь? – нетерпеливо спросил Слепцов.

– Думаю, Степаныч, что... нужно крепко подумать. Свое расследование провести, не навскидку, а по всем канонам науки.

– Ну, ты же понимаешь, что...

– Прекрасно понимаю: никому! – снял ученый политик с языка коллеги заветную мысль.

А сам подумал: «Надо бы поговорить с Сергеем. Он поможет провести следствие. Жаль, что он уехал. Интересная история...»

Его внештатный помощник-консультант, а по большому счету – настоящий советник Сергей Грохов на днях уехал в отпуск, сказал, что летит сначала в свой родной Киев, а потом в Крым, просил лишний раз не беспокоить.

«Посмотрим... Может, и побеспокою...», – решил Алексей Фомич. Понятно, что Слепцову нельзя говорить о своем советнике, но с ним, с его светлой головой, это дело расследовать будет гораздо легче...

В эту ночь плохо спал и депутат Верховной Рады Украины Василий Теневский. Как никогда плохо. Даже и совсем не спал. Около полуночи позвонил помощник «папика» – Ивана Коренчука (по прозвищу «Большой Крендель»), тоже депутата, но более крупного калибра, которому в ближайшем будущем, по всем признакам, улыбалось всеми драгоценными гранями кресло первого вице-премьера. А если станет первым замом главы правительства, то и в самом деле первым, уже без «зам», станет почти гарантированно, в этом никто из посвященных не сомневался.

Так вот ночью Василия Николаевича, еще энергичного, но потяжелевшего в последний год и статусом и статью 38-летнего депутата-бизнесмена, попросили срочно приехать в клуб «Панама». А это уже было абсолютно ясно, что для личной встречи с «самим». В такое время! И всего-то, как выяснилось, из-за нескольких строчек телевизионного сообщения.

Накануне вечером «Киевский канал» передал, что в тюремной больнице свел счеты с жизнью киллер №1 Костюченко, на счету которого 18 заказных убийств. Скончался он якобы от «психотропных веществ». И в той же Лукьяновской тюрьме взрезал вены другой заказной убийца – кто он и сколько на его совести загубленных душ, не сообщалось. В этом же сюжете администрация столичного СИЗО проинформировала, что «количество суицида», благодаря профилактической работе тюремных психологов, резко уменьшилось: всего 19 случаев в сравнении с 27 за аналогичный период прошлого года.

Все бы это – ничего. Так им и надо, киллерам – киллерская смерть, подумал Теневский. Но, как рассказал помощник Коренчука, примерно через час после этого информационного выпуска на мобильный телефон Ивана Павловича поступило сообщение: «Поздравляю. Надеюсь, поделишься новыми видеофильмами». Эсемека пришла от Евгения Щегольского. А кто такой «Щегол» – все знали. Это такой же «папик» – только руководящий другой группировкой, непримиримо конкурирующей за высшую власть в стране. Ничего было не понять: что за поздравление, какие «новые видеофильмы»? Поэтому Коренчук созвонился с автором послания и договорился о личной встрече, которая состоялась на нейтральной территории. Иван Павлович приказал вызвать Теневого как только вернулся в «Панаму», буквально полчаса назад.

Помощник Коренчука, хоть и путано, объяснил следующее. Оказывается, вчера Щегольскому позвонили по мобильному телефону и сказали: «Поздравляем! Вам ценный подарок – возьмите в почтовом ящике на Рейтарской». Щегольский был как раз у себя, в своем охраняемом доме на улице Рейтарской. Его человек спустился, вскрыл конверт, проверил на вшивость, то есть «порошковость», читать, конечно, не стал, принес письмо шефу. А в письме, в компьютерной распечатке утверждалось, что два недавних громких убийства – это дело его рук. Теперь, мол, он не отвертится – два киллера, которые сидят на Лукьяновке, признались, что нардепа Вишняченко, а также зама председателя налоговой администрации Омельчука «заказал» он, Щегольский, и эти признания записаны на видео.

– Но самое интересное, – растолковывал помощник Коренчука, – позвонили Щегольскому из мобилки, которую на днях украли в нашем партийном офисе у одного нашего человека! Иван Павлович доказывал, что мы тут ни при чем, это подстава, но Щегольский не поверил. И получилось, будто мы намеренно убрали киллеров и теперь их показаниями, записанными на видео, будем его шантажировать...

Теневого пригласили в укромный «панамский» кабинет, Коренчук сказал всего несколько слов:

– Действуй, ищи, рой! Аккуратно, будь осторожен, могут быть подставы или еще хуже. «Щегол», ты знаешь, любит убирать не столько генералов, сколько подносчиков снарядов. Понял, да? И рой, рой вокруг себя, весь свой округ перерой и пол-Киева в придачу, это в твоих интересах. Нас кто-то крупно подставил, блять!

Вот такая ночь... «Это я-то подносчик снарядов?» – с запоздалым возмущением думал Теневский, уже в третий раз поднявшись с дивана в своем кабинете (к жене, как приехал, так и не ложился). Но тут же робкое возмущение вытеснил все сильный страх: «Да, Щегол с врагами не цацкается...» Василий Николаевич вышел на кухню, налил треть стакана коньячного «успокоительного», закурил.

«Что ему стоит меня убрать?.. Стереть в пыль... И что, кто-то заступится? Большой Крендель? Да таких, как я, у него десятки...» – безысходно резюмировал измаянный народный депутат, расхаживая с дымящей сигаретой по большой кухне новой, после евроремонта, пяти-

комнатной квартиры. Эту квартиру, требующую, правда, капитального и чуткого обновления, он купил четыре года назад, когда вышел на новую орбиту своей карьеры – стал депутатом Верховной Рады, тогда же завел новую семью, бросив старую и женившись на молодой, одной из двух своих любовниц, теперь дочке было три года. И все шло прекрасно – весной он снова выиграл выборы, а депутатский значок символизирует новые горизонты карьеры, неприкосновенность бизнеса, его расширение, если, конечно, правильно вести политику. А он – политик, а не просто бизнесмен. Он стал политиком, потому что все делал правильно – отсеивал вовремя ненужных друзей и обстоятельно выбирал нужных покровителей. И вот... От них-то, получается, и беда?..

Василий Николаевич почувствовал зябкую беззащитность – нечто подобное ощущает человеческое тело в ванне, из которой только что вытекла теплая вода.

Что делать? Кого искать? Кто мог подставить столь могущественную группировку во главе с самим Коренчуком? С чего начинать?.. Семью отправить куда-нибудь подальше, хоть в Одессу, к старому своему приятелю... А ведь вчера еще они с женой планировали, как проведут отпуск, куда поедут с ребенком в августе, после «Нижней Ореанды» – парламентского санатория... Пусть едут сейчас... Нет, не сейчас, конечно, не будить же ночью, испугаются... Утром спокойно соберутся и уедут. Улетят... Однако что же делать дальше?.. И Грохов, главный советчик, уехал – в Москву, что ли, опять? Далась ему эта Москва... И мобилку – не то что выключил, а отдал, сказал «не тревожить, отпуск есть отпуск»... А вот он бы помог. Подсказал бы...

«Черт!.. Да он же не знает ничего, кто я, с кем я! – Василия Николаевича уже пятый или шестой раз за эту ночь бросило в холодный пот. – Он не знает, почему я должен рыть (а что рыть? где рыть?), и почему может начаться война. И почему я рискую жизнью, почему должен быть осторожен... Сергею надо рассказать, но не все, а часть правды, легенду какую-то придумать, почему я в опасности. Да! Да?.. А его нет! Именно когда больше всего нужен...»

Уже скользкий, как черноморская медуза, июльский сизо-розовый рассвет влезал в квартиру сквозь узорные оконные решетки второго этажа, когда депутат Теневский погрузился в тяжелое забытие.

2

Сергей Грохов ехал на родину. За спиной, на соседнем сидении дребезжащего, поскрипывающего «Икаруса» кто-то лугал тыквенные семечки, громко, словно стекла давил. И пять, и десять минут Грохов слушал бесцеремонный хруст в чьих-то зубах. Казалось, будто мерзкий рот прямо за затылком творил главные звуки мира, заглушая собою все остальное. «Да что же это такое? Какое право имеет эта свинья так агрессивно жрать? Почему другие должны слушать?..» – долбило в мозг.

Однако он больше вслушивался в себя: что чувствует, чего хочется? А хотелось вскочить, заткнуть грязной оконной занавеской чавкающий рот, избить наверняка тупую рожу, швырнуть в конец салона, к гудящему мотору, невидимое, но, несомненно, жирное, так нагло насыщающееся растительными белками тело. И в этот момент начались новые испытания: луганье семечек сменилось столь же нервующим шелестом полиэтиленового пакета. «Так. Что дальше? Спрячет в пакет шелуху и успокоится?» Нет! Он («Или она? Свинья или боров? Оно! Да! Животное!..») теперь принялся грызть яблоки. Уж эти звуки были абсолютно невыносимы. Грохов гневно вдохнул, собираясь повернуться, посмотреть на сидящего сзади так называемого человека, но... Всего лишь мысленно сказал себе: «Вот ты гневно вдохнул».

И улыбнулся, закончив просмотр затеянной игры, приближенной к реальности – вроде бы серьезной, и вместе с тем такой детской, примитивной игры нервов. Улыбнулся потому, что знал, кто теперь Сергей Грохов. Он уже не такой, каким был в течение долгого, очень долгого детства, которое растянулось на добрых три с половиной десятилетия.

Одинаковая улыбка, всепрощающая и всепонимающая, как подумалось, уже второй раз в автобусе озарила его лицо, облагороженное глубинным внутренним спокойствием, пониманием самого себя. Грохов вспомнил, как поступил два часа назад, когда выехал из Киева утренним воскресным рейсом. Автобус был полупустой. Рядом с ним села женщина – примерно его возраста, хотя на вид много старше (в сравнении с ним), городская дама с белыми, ржаво проросшими у корней, крашеными волосами до плеч и обрывками кукольно-мертвых волос на плечах. Не пожалела она краски и для лица – тонких бровей, коротких ресниц, толстых трапецевидных губ.

Несколько минут Грохов пытался деликатно не отвечать на ее попытки завести беседу. Сначала спросил себя: «Вот скажи, Сережа, ты хочешь разговаривать с этой женщиной?» И, еще раз на нее взглянув, безоговорочно ответил: «Нет, не хочу. Игра не стоит свеч».

– Как уже все надоело – инфляция, опять билеты подорожали, когда это кончится?.. – как бы отвлеченно промолвила попутчица, глядя в его сторону, вроде бы в окно.

В ответ он вдруг искривил рот, весь напрягся, ухватился за живот, согнулся, повернул к ней страдальческое лицо. Десятки как бы прорезанных болью морщин, широко открытый зев, сощуренные глаза выражали страшные муки, будто электрический ток прошел по сидению и поразил его. Он медленно поднял туловище, откинулся назад, запрокинул голову.

– Что с вами? – отодвинувшись, с опаской спросила женщина, звучно глотнув слюну.

И когда она обернулась к салону, вроде бы готовясь позвать людей на помощь, нездоровый сосед резко уронил голову на ее плечо, придвинулся перекошенным ртом к ее уху и, дернувшись, точно в предсмертной судороге, из самых глубин живота гортанно изрыгнул: «Гиль-гиль-гель!..» Женщина отпрянула и если бы не подлокотник, выпала бы из кресла в проход салона. А он опять свернулся в комочек, держась за живот, и тут же неожиданно резво выпрямился. Распрямилось и лицо, даже вырисовалась легкая улыбка. Снова наклонился к ее уху и на удивление спокойным голосом объяснил:

– У меня приступы. Тошноты. Как бы я вас не испачкал. Лучше пересядьте. Идите вперед, там есть место. А здесь тошнит, понимаете?

Дама быстренько ретировалась. Через минуту Сергей, сам себе улыбаясь, устраивался поудобнее на двух сиденьях.

Путь предстоял не короткий. Раньше, в советские времена, чтобы доехать от столицы Украины до своего родного русского города, требовалось пять часов. Теперь, в начале нового тысячелетия, транспорт стал более скоростным, но тот же маршрут стал более длинным – появилась граница и всякие, связанные с ней, тормозящие гадости (бывший советский человек именно так воспринимал пограничные формальности).

Русский по крови и рождению Сергей Грохов считал себя киевлянином – если не коренным, то глубоко укоренившимся. В свое время, когда молодость потянула в столицу, он оказался, так получилось, не в Москве, а в Киеве. Его родной город находился ближе к «матери городов русских», чем к столице СССР. Была, правда, еще одна причина, по которой Москва его тогда не приняла...

Так долго ехать автобусом не было никакой материальной необходимости. Можно было взять «Волгу» с водителем, которые всегда в его распоряжении, и доехать гораздо быстрее. Можно было сесть в свою еще не очень старую «девятку», на которой ездил по доверенности. А можно было уже давно иметь свою машину, даже вполне приличную новую иномарку.

Грохов не покупал машину. По той же причине, что и квартиру. Не нужно быть привязанным к чему-либо, то ли к машине, то ли к квартире, то ли к человеку. Любая привязанность

– несвобода, что не только нежелательно, а и губительно для его нынешней жизни (начать жить как все – никогда не поздно, а пока не хотелось). Квартиру в Киеве снимал. Точнее – две. Первая нужна исключительно для его жизни – адрес и номер телефона не знала ни одна мало-мальски знакомая душа. Вторая – «с дверью в смрадный мир», то есть для официальной работы, для друзей, для подруг. Впрочем, с некоторых пор «подруг» заменила одна. Он долго не мог понять, как так произошло, но в последнее время ему женщины были не нужны, кроме Оленьки. К другим не тянуло, но они были. Точнее, так: хоть они, другие, и были, но к ним не тянуло...

Так же, как и в Киеве, он уже почти год снимал две квартиры в Москве...

Грохов поехал на автобусе не случайно. Несколько часов автобусной езды – это привычный с юности, обкатанный переход на ступень ближе к себе, плавное приближение к тому, что любишь и чему никогда не изменишь.

Сейчас в Дыбове – вершина лета. Она не в Африке, не на экваторе. А в маленьком городке, куда вез его обычный рейсовый автобус. Что такое Дыбов? Это: на высочайшем пике Земли, отдаленный тысячекилометровой пустыней от остального мира, – кратер, не вулкано-бурлящий, а тихий, успокоенный, упакованный в планету, закрытый от земных ветров и бурь, но распахнутый небу, овеществленный сине-зеленый луч космоса. И вечный. Подтверждение тому – детство, которого не помнишь, но лучик которого, появившийся из вечности, светит до последнего вздоха, и его не затмят ни взрослые радости, ни муки.

Такой ему рисовалась родина после долгой разлуки. Понятие «долго» с каждым отъездом укорачивалось. «Старею?» – все чаще спрашивал себя Грохов. «Это мы как раз здесь и выясним», – подумал, подъезжая к автостанции. Ему хотелось защищать свой городок – маленький, единственный в мире полноценный оазис жизни, – даже драться за него. Упасть грудью на этот кратер и защищать. От кого? Да от всех, даже от самих дыбовчан.

Автобус мягко коснулся бордюра, последний раз фыркнул выключенный мотор, бесшумно открылась дверь. «Дверь родины – да, вот она такая...»

Он легко соскочил со ступеньки автобуса, невольно ища глазами знакомые лица. Впрочем – зачем они ему? Не к людям же приехал, а к родимым камням.

Людей было много. Транзитом через Дыбов воскресные автобусы шли на Москву переполненные. Десятки дыбовчан тоже спешили вовремя попасть в понедельник столицу – на работу. Было время студенческих каникул, а на платформах шумно толпилась молодежь, мелькали загорелые спины юношей в модных черных майках и шоколадно манящие голые плечи и ноги девушек. «Пора вступительных экзаменов», – догадался Грохов, на ходу задержав взгляд на трех молоденьких хохотушках возле автобуса, следовавшего в Москву.

Он уже завернул за угол станционного здания, как вдруг поймал себя на мысли, что смотрел не на троих, а на одну! Всколыхнулась память, дрогнуло сердце – что-то до трепета знакомое было в ее лице. «Стой! – остановил он себя. – Надо выяснить...» И вспомнил. «Наташа? – однако тут же одернул себя. – Глупец...» Разве это могла быть Наташа? Двадцать лет прошло... Померещилось. Понятно, первая любовь – потому и остается в памяти нетленной, не стареющей.

Все же повернул обратно, стал быстро протискиваться к платформе Московского направления, ведь автобус мог уехать и увезти так и не опознанную до конца девушку с ликом первой любви. В дверях автобуса уже теснились транзитные пассажиры, напирали дыбовские. Грохов наблюдал за поразившим его «объектом». Ему было просто интересно, не более. Но удивительно, пронзительно интересно. И носик, почти прямой, лишь слегка вздернутый – её; и губы, небольшие, но полные, арбузно-сочной спелости, фигуристые, такие цветочные – её. И золотисто-сверкающие, плавно вьющиеся волосы, элегантно спадающие на плечи, слегка закрученные внутрь и так женственно окаймляющие шею... «И прическа такая же... И улыбка, все точь-в-точь... А может, это дочь?» – осенило его.

Сердце успокоилось, когда увидел, что юная, загадочно-близкая особа не уехала. Выяснилось, две девушки провожали третью. Грохов еще подождал, пока автобус отдалился, потом долго смотрел вслед двум уходящим в направлении города подружкам, и опять зафиксировал, что и ножками, и всей стройной фигуркой нежное создание очень напоминало Наташу. Вся щемящая прелесть этого воспоминания была в том, что знал он Наташу, встречался с ней (исключительно платонически) всего около месяца. Она была не местной, приезжала в Дыбов отдыхать к тете. В августе уехала. А осенью его забрали в армию. Больше так и не увиделись. И больше таких счастливых, возвышенно-ослепительных дней в его жизни не случилось.

«Бывает же такое!», – улыбнулся Грохов, когда девушки исчезли за поворотом. Он ждал, сильно хотел, чтобы девчонки повернули в ту улочку, где жила Наташина тетья. И это чудо свершилось: они пошли именно туда. «Бывает же такое... наваждение», – подумалось. И тут же: «А почему, собственно, наваждение? Разве это не реальность? Разве не забилося сердце так, как двадцать лет назад? Ну – почти так...»

Он увидел себя семнадцатилетним, с букетом цветов возле летней танцплощадки. Среди его друзей было не принято дарить девушке цветы, этот знак внимания был взят на вооружение, наверное, из фильмов. И вот стоял, переживая долгие минуты ожидания, терпеливо снося откровенные ухмылки знакомых ровесников и ровесниц, загадочно шушукующихся явно по поводу зажатых в его напряженной руке цветов. И был невыразимо благодарен Наташе за то, что она так просто, сказав обыкновенное «спасибо», взяла цветы и в один момент сбросила с него невыносимые оковы сомнений и груз насмешливых взглядов. Нельзя сказать, что она прижала букет к сердцу, однако, несмотря на смущение, он видел, как упругие лепестки кувшинок, добытых собственноручно, и гладиолусов коснулись ее белой (в сравнении с телами загоревших дыбовчанок) шеи и груди между отворотами полурасстегнутой сиреневой блузки...

За спиной осталось около километра пути. Последний поворот... Спуск по узкой, полуразрушенной бетонной лестнице, заросшей бурьянами и будто обшитой внутри густой вязью дикого винограда, с нависающей чуть выше сиренью и еще выше – кленами... Вынырнув из темно-зеленого тоннеля на свет лицом к югу, Сергей остановился: перед ним горела река, переливаясь сотнями чешуисто сверкающих маленьких волн, брызгая в глаза, обдавая с ног до головы серебристо сияющей рябью. И требовала: купаться! Немедленно в воду!

Здесь, перед плотиной, река была широкой. Когда-то она очищалась – не столько людьми, сколько самой природой: тяжелые ледоходы по весне соскребали с берегов естественную грязь и всякий мусор людской. А чтобы не снесло плотину, лед взрывали, дробили: фонтаны ожившей воды и ледяных осколков вздымались выше пирамидальных прибрежных тополей. Сергей помнил, как куски льда залетали к ним на огород, шлепались на оттаявшую, слегка лоснящуюся землю, как мама запрещала идти к реке, пыталась удержать его в доме. Но как удержишь, если этих салютов весны мальчишки всю зиму ждали. После каждого залпа (работники ГЭС закладывали взрывчатку несколько раз) и мал и стар со всех окрестных улиц наперебой, с хватками мчались к реке, бегали по берегу в поисках оглушенной рыбы. Счастливее всех были те, кто с лодками: петляя в прогалинах между свежевскрытых льдин, они выхватывали плавающих вверх брюхом огромных сомов и шук...

Таких льдов, таких зим и, стало быть, таких весен давно не было. Соответственно – и летом уже не та река. Осмотрев берега, заросшие нитчаткой, Грохов решил, что купаться пойдет за плотину, на проточную воду.

Открыв дверь дома, единственное, что сделал, – веником смахнул паутину с дверных проемов. Даже не распаковав сумку, быстро разделся и в одних плавках и вьетнамках направился смывать дорожную пыль.

Солнце горело над далеким изгибом текущей с запада реки. Висело еще высоко, ждало его. А на востоке, за плотиной, была совсем другая река, разлившаяся на три рукава, – с каменными, травянистыми, песчаными, «дикими» пляжами. Она то пряталась в каменные коридоры

с гладкими небольшими порогами, то, раздаваясь вширь, огибала маленькие островки, поросшие камышом, и раздваивалась перед островами побольше, одетыми в сирень. Крайним левым рукавом река заворачивала на юг и текла вдоль парка, отрезая городскую суету от тысячелетней зеленой тишины. Второе течение образовало остров, на котором возвышался замок, построенный в стиле барокко еще в 18-м веке, – некогда ухоженный, вовремя подкрашиваемый в цвет неба, а ныне – с грязно-серыми залысинами, с облупившейся штукатуркой краеведческий музей. Третье русло, созданное рукотворно, но не менее живописное – зарождалось под плотиной ГЭС, несло по каналу, вертело турбины и, успокаиваясь, умиротворенно вливалось в парк.

Плотина – метрах в ста от дома Грохова – вела строго на юг, в тот же парк – нестандартный, не городской, потому что он не кончался на какой-то черте, а переходил в лес. И там, на теплой стороне мира, над темнеющим парком так мощно, так ярко, так волнующе притягательно (это помнилось с детства) всходила вечерами сияющая первородным светом луна – огромная, багровая, словно только что выплавленная, близкая, домашняя. . .

Свернув за плотину, Сергей спустился по широкой извилистой тропе между общипанной бесцеремонными дачниками сиренью и оказался на гладкокаменном берегу. Камни здесь были коренные, – они росли из глубины земли и, отшлифованные временем, будто стекали причудливыми волнообразными глыбами к реке и уходили в воду. Чуть ниже по течению берег каменный переходил в травянистый, покрытый низкорослым, густым мягким клевером, с изредка маячившими многотонными валунами, напоминающими спины мамонтов из картинок в школьном учебнике истории.

На «лежанке», отделенном одним прыжком от берега плоском каменном островке в несколько квадратных метров, группа загорелых девушек и парней, сидя на выдавшей виды подстилке, играла в карты. Под плотиной, с бульканьем и криками резвились в пенном водовороте мальчишки лет десяти-двенадцати, подставляли спины под толстые струи воды, пробивающейся сквозь трещины старого деревянного перекрытия, взбирались, насколько могли, по скользкому бетонному откосу вверх и с визгом прыгали в кипящую прохладу.

Прежде, чем на берегу появился Кея, некогда близкий товарищ, Сергей успел искупаться, побывав сразу после ада (потогонной езды в автобусе) в раю, которым в знойный июль является любой более-менее чистый водоем.

Как только он ступил на «лежанку» – ему захотелось вспомнить молодость. С этого камня много лет назад он лихо крутил сальто – не только заднее, но и переднее, хотя «лежанка» позволяла разбег всего в три шага.

Он повернулся спиной к воде, лицом к играющим в карты, скорее всего, студентам Дыбовского педагогического колледжа. И встретился взглядом с девушкой в зеленом купальнике, миловидной, лет восемнадцати – она сидела, стройно вытянув спину, подчеркивая гладко-тонкую, еще не перегруженную годами талию. Грохов медленно, глядя ей в глаза, поднял вытянутые руки вверх – получилось вроде бы приветствие. Затем опустил руки, снова резко взмахнув ими, оттолкнулся, перевернулся в воздухе и четко, как это было в юности, вошел в воду ногами. Дальше забыл о студентах, поплыл себе к другим камням. А когда уже выбирался на сушу – снова поймал взгляд той девушки. Теперь она смотрела стоя (специально поднялась?), теребя одной рукой темно-русые кудрявые волосы. Может, показалось: в ее глазах был не просто интерес, а настоящее восхищение. Наверное, не показалось, потому что он не стремился произвести впечатление, не играл на зрителя, а просто купался в свое удовольствие. И когда уже подходил к ожидающему его другу, повернулся еще раз: она смотрела на него с таким же явным неравнодушием.

«Подморгнуть ей, что ли? – легкой волной плеснулась мысль. – Или поприветствовать рукой? Нет, для романтической игры есть другой, более привлекательный объект». Тут же мелькнуло сомнение: стоит ли в такую игру играть? Разве для этого приехал в Дыбов? Он

вновь мысленно вернулся к девушке на автовокзале (еще не был уверен, что это дочь Наташи, а уже назвал ее «Наташа-2»). И сам себе улыбнулся: интересна все-таки мужская логика. Ведь совсем не девушку имел в виду, когда подумал, зачем приехал в Дыбов.

Он более пристально окинул взглядом студентку в зеленом купальнике. В Киеве, а тем более, в Москве таких студенток – как пиявок в этой реке. Но то столицы, там все чужое, и чтобы сделать что-то своим, нужны труды и годы. А здесь все свое, родное, как кровь в собственных жилах. Разве можно пройти мимо этого «своего»? И Грохов окончательно понял: отказаться от уже накатовавшейся игры – нельзя, это было бы преступлением против юности. Если эта молоденькая, темно-русая, почти шатенка, встретившаяся случайно на реке, так смотрит, то почему не может так смотреть та светло-русая, почти блондинка, встретившаяся (случайно или по воле судьбы?) на автостанции? Может! Только ею надо заняться.

3

Одарив студентку легкой улыбкой, Сергей расстался с ней навсегда. И еще раз отметил: правильно сделал, что позвонил полчаса назад Келе. Ведь сама жизнь просит, чтобы в нее вошло еще одно маленькое приключение, еще одна игра. Он попросил Келю обязательно и немедленно прийти по делу «одной молодой звезды», так ярко взошедшей вдруг на дыбовском небосклоне.

Странная, непостижима родина детства. Она способна в одно мгновение одурманить умную, многоопытную голову, превратить зрелого мужчину в пацана, затмить все ценности, которыми жил целые годы, а то и десятилетия. Предполагаемая игра в любовь с молоденькой девушкой (а план уже зарождался) была для Грохова интересной не сама по себе – таких игр отыграно много. А то интересно, что здесь присутствовал запах, и даже дух его юности, его былых надежд, которые были обрезаны на дальних подступах к их осуществлению. Не доиграл он в свое время во все положенные молодости игры, – и батальные, с мальчишками, и лирические. Игра с ней, девушкой, которая возвращала его к главной ценности молодости, первой любви, была несравнима с другими не доигранными, точнее, как выяснилось, отложенными играми, как несравнимо в семнадцать лет одно легкое прикосновение руки любимой девушки с сотнями крепких мужских рукопожатий.

– Ты никак не остепенишься. Почти сорок мужику, а все одни девочки в голове, – шутивым укором поздоровался Келя.

– Добавь: красивые девочки, – уточнил Сергей.

– Вообще... за это тебя и уважаю, – хмуря брови над слегка выпученными пляжно-светлыми глазами, вечно по-собачьи настороженными и внимательными, признался Келя. – Так что ты хотел, конкретно?

– Конкретно, именно. Кон-крет-ну-ю хотел. Я хочу знать, кто она, откуда, и сколько ей лет. Если есть уже восемнадцать, я возблагодарю судьбу и тебя. Будь уверен.

– А-а, боишься малолеток!..

Николай Келинский, которого весь Дыбов уже четверть века знал как Келю, был достаточно влиятельный мужик в теневой экономике Дыбова и очень авторитетный среди деловой и «приблатненной» молодежи города. Уважение снискал не столько за свои собственные заслуги, сколько за незапамятную, непоколебимо стабильную близость к «королю» города Котлу (от фамилии Котельников). Некоторые считали Келю «шестеркой», впрочем, открыто сказать такое никто не осмеливался. А вот Грохов так не думал, поскольку хорошо знал Келю и был уверен, что преданность авторитетному человеку, который превосходит его или по уму,

или по силе, – его черта характера. Келя так же искренне был предан и самому Сергею, а уж ему-то никогда не угодничал.

Грохов долго описывал встретившуюся на автостанции девушку, казалось, исчерпывающе нарисовал ее портрет, – Келя понял, о ком речь, лишь тогда, когда Сергей вспомнил о Наташе.

– Ты что, тоже ее помнишь? – удивился он.

– Я, может, не такой красавец как ты, но красивых девочек всех помню, – с достоинством ответил Келя.

– В таком случае пройдемся. Мне нужен твой авторитет.

И приятели, разувшись, пошли по травке вдоль реки. Пройдя несколько десятков шагов, наслаждаясь прикосновением ступней к нежно щекочущему клеверному ковру и обсуждая план покорения юного женского сердца, Грохов вдруг прервал тему, остановился, резко повернулся к попутчику.

– Слышь, Колек. Давай я теперь ударю тебя в живот. Давай! Изо всей силы! А? – И приготовил кулак.

Келя отступил на шаг, нахмурившись, внимательно окинул взглядом тело Сергея – шею, плечи, бицепсы, пресс, бедра, – сделал задумчивое лицо и доверительно сказал:

– Ты знаешь, вот теперь уже не надо. Теперь – не надо! – предостерегающе повторил, отойдя еще на шаг, и они рассмеялись.

Семь лет назад, на этом же берегу, на такой же травке они так же прохаживались вдвоем. И Келя, шутливо-сожалеющим взглядом посмотрев на обнаженный торс Грохова, заметил:

– Ну ты и худой. Ты что – йог?

Грохову, который тогда плохо спал, скверно ел, безбожно курил и пил, нечего было ответить. А Келя – толстеющий, раздающийся в поясе, дабы показать, в чем должна заключаться сила мужчины в их возрасте, предложил:

– Бей! Бей в кендюх, изо всей силы, бей! – И расставив ноги на ширину плеч, напрягся, подставляя под удар голый, надутый, застывший как металлический шар, живот.

– На фига?.. – буркнул Сергей.

– Бей! – требовал уверенный в твердости живота Келя. – Ну, давай! – кричал он. – Не пробьешь!

Сергей бить не стал, и без того понял, насколько захирел, насколько жизнь его измотала. К тому времени он почти забыл, что есть физкультура, зарядка по утрам и т.д.

Теперь об этом не забывал ни на день, ни даже на час.

– Не хочешь? – снисходительно бросил Грохов. – Ладно, тогда смотри.

И не стал, а прыгнул на руки, вышел в стойку – ровненькую, без прогиба, развел широко вытянутые в струнки ноги, зафиксировал такое положение, затем, согнув колени, соединил ноги в замок и зашагал по траве быстро и уверенно, будто всю жизнь только на руках и ходил.

– Да-а! Ну, ты даешь! Ну, ты даешь!.. – восторженно и звонко, как юноша, выкрикивал Келя.

Потом сказал:

– Если ты и с женщинами такой резвый, то... я тебя понимаю. Я насчет той, юной, понимаешь?

– Понимаю. А насчет той юной леди – ты сделай, о чем договорились.

«Зачем, зачем тогда вдоль этой аллеи выкорчевали старые каштаны, которые так уютно укрывали, защищали детство и оттеняли дорогу юности, уводящую в перспективу?» – по привычке подумал Грохов, спускаясь по каштановой аллее (одной из достопримечательностей

маленького Дыбова) к реке, за которой начинался парк. Он вспомнил, как много раз и много лет задавал этот вопрос, увидев после первой долгой разлуки с родиной, после армии, вместо тенистой, романтической аллеи, по которой любила прохаживаться молодежь, – голую, усеченную, безрадостную, какую-то бесперспективную дорогу. И то, что вместо старых дедовских каштанов тогда посадили жалкие маленькие каштанчики, было как насмешка над юностью, не только его, а целых поколений.

И вот теперь молодые деревца выросли, и хотя не раздались еще во всю ширь, но стали почти вровень со старыми, исчезнувшими, для кого-то родимыми и такими, как оказалось, ненадежными символами мая, любви, надежд... И опять была тенистая аллея, наверняка что-то значащая для другого поколения. Жизнь совершила оборот – большой, многолетний, законченный цикл.

Как ни странно, и в самом парке он заметил такой же законченный круг жизни. Сосна – редкой породы, единственная в здешних местах, с густой, длинной, не острой хвоей, одинокая, огромная, укывистая, роскошнейшая, его любимая с детства сосна (тогда хотелось залезть высоко под крону и там остаться, жить там, в уютном холодке) – исчезла. За годы его жизни она теряла сначала маленькие, потом большие ветки, и ствол ее, некогда мощный, постепенно пустел внутри, роняя ржавые, отгрызенные временем куски коры, пока не превратился в сухой, перегнивший столб, которому тоже осталось топыриться недолго.

Это была смерть – пусть только дерева, однако заметная, бросившаяся в глаза и в душу, значит – небезразличная для него, созвучная с тем чувством, которое и привело его в парк, где всегда хорошо думалось. Оно, это чувство, уже несколько месяцев нет-нет да и проскальзывало в сознание, – непрошеное, настойчивое, все более и более расширяющееся, расселяющееся в свободных (или специально освободившихся?) нишах и ложбинках души. Оно напоминало знакомое с юности, изнуряющее желание найти соотношение между своей жизнью и вечностью, найти окончательное пристанище сверляще-неотвязным мыслям о бренности бытия. Потом эта провокационно опасная игра вечности в душе на долгие годы была придавлена, как первая весенняя травка прошлогодней листвой, многослойными проблемами текущей жизни, оттеснена теми общественно-необходимыми играми, в которые обязан играть человек, вступая во взрослую жизнь, и которые очень редкие люди могут превращать в свои собственные, интересные игры.

Однако теперь это чувство как бы повернулось другой стороной, оно уже было не траурное, не гибельное, а какое-то фатально-величественное. Было ощущение перемещенности – на ту, другую плоскость, которая прямо теперь ведет к таинственной последней черте, в отличие от первой, ступенчатой половины пути, которая состояла из ям и бугров, холмов и откосов, вершин и пропастей. И это чувство, которое часто в последнее время, как заклинившийся шлюз, останавливало обычное течение жизни, надлежало окончательно успокоить. Нет, не выбросить из головы, а спокойно, зрело, без сердечной дрожи отвести ему свое место.

«Итак, ты уже, считай, прошел свой маленький, бугристый, колдобистый отрезок мира, вселенной, вечности, делаешь, возможно, последние шаги по участку, именуемому земной твердью, – заговорил Грохов, как бы для объективности вслух. – Ты видишь шлагбаум, за которым непроглядная пустота, но который открыт для всех; и видишь весь тот жизненный ландшафт, по которому прошагал, промчался ли, проковылял или прополз. Как бы там ни было, как ни назови, но эта твердь, в основном, позади. Ты свое пространство преодолел, ты его увидел, узнал, прочувствовал, прощупал и согласился: да, оно пройдено, и возврата нет, и другого участка не будет. Но теперь ты видишь, что главное – не в видимом пространстве, а – во времени, почти невидимом. И никак ты не можешь, не хочешь уразуметь, что время твое – тоже осталось за спиной. Вот с этим согласиться – гораздо труднее...»

Он остановился возле бывшей площадки аттракционов, вместо которых из высокой, дичающей травы вздымались одни бетонные фундаменты, как памятники эпохи. Эпоха

«металлистов» накрыла Дыбов около года назад. Тогда, приехав на родину, Сергей пришел в парк и не увидел там ни одного аттракциона – все они, от огромного колеса обзора до почти игрушечных детских качелек, были демонтированы и вывезены в неизвестном направлении. Вывезли все металлическое, до последнего болтика.

К тому времени в стране достигло апогея всенародное движение за превращение сначала цветного металла (меди и алюминия), а затем и черного – в драгоценный, за него в приемных пунктах давали «живые» деньги. В погоне за ним подбиралось, подчищалось, вырезалось и вырывалось все, что плохо лежало. И даже то, что, на чей-то взгляд, плохо висело, – люди влезали на столбы, обрезывали действующие электропровода, и уже никого не удивляла телевизионная картинка с висячим на высокой опоре человеческим телом, пойманном не милицией, а высоким напряжением.

«Итак, я умру, – вернулся он к своим размышлениям. – Я теперь уже точно знаю, что...»

«Нет, не дадут! Не то что умереть, но даже пофилософствовать на эту тему...» Его мысль прервал «Турецкий марш», тонко зазвучавший из заднего кармана брюк. Нельзя было не ответить на этот звонок, хотя бы потому, что звонили по единственной, оставшейся при нем мобилке. У него их было три. Уезжая в краткосрочный отпуск, два телефона отдал своим двум «шефам»: один – депутату Верховного Совета Украины Василию Теневскому, второй – депутату Государственной Думы России Алексею Потылицыну. Звонила Елена Лебедская, тоже народный депутат Украины, которая для Грохова в официальной обстановке была Еленой Сергеевной, а в неофициальной – Леночкой.

– Слушаю, Елена Сергеевна.

– Ты где, Сережа?

– О, я сейчас, Леночка (он понял, что раз она назвала его Сережей, а не Сергеем Владимировичем, значит, ей никто не мешает говорить), в таком месте...

– В каком это ты месте? Ну-ка, выкладывай.

– Я сейчас наедине с... – он нарочито растянул «с».

– Наедине с кем? – строго спросила депутат.

– С природой, – выдохнул Грохов. – Только с природой, которая глубоко сожалеет, что нет сейчас тебя здесь.

– Природа сожалеет?

– И я вместе с ней.

– Ты, правда, один, Сережа? – уже неприятно искренне спросила Лебедская.

– Правда, Леночка, святая правда. Я один. Нужно кое над чем подумать. А ты по какому-то делу?

– Просто давно тебя не видела...

– Скоро увидимся.

– Когда?

– Через несколько дней.

– Ну ладно... Думай, отдыхай. Набирайся сил, – сказала она не без намека.

– Обязательно наберусь. В нужный момент я всегда в силе, ты же знаешь. Рад был тебя слышать, твой голос лучше, чем пенье самой певчей птицы.

– Теперь я верю, что ты наедине с природой, раз такие сравнения находишь...

– И все же ты что-то хотела сообщить?

– Да, есть информация по твоему вопросу.

– Хорошо. Тогда постараюсь приехать пораньше!

– До встречи, Сереженька, скорой-скорой.

– Пока, Леночка...

– Ну вот как теперь думать о вечном? – спросил уже сам себя.

Закончив разговор с Лебедской, на всякий случай отключил телефон. Хотя этого номера не должны знать ни Теневский, ни Потылицын, но – не дураки ведь, могли как-то и узнать. Впрочем, если бы узнали, уже позвонили бы, поскольку те сюрпризы, которые он им оставил, и тому и другому трудно переварить без своего незаменимого советника. Конечно, интересно, что чувствует сейчас Слепцов с Потылицыным в Москве, а еще интереснее, как ведет себя Теневский и вся их братия во главе с Коренчуком в Киеве.

Грохов улыбнулся, представив испуганные глаза Теневого, когда его вызовет Коренчук и расскажет о небывалой подставе, о возобновляющейся войне с кланом «Щегла». Тогда ему, как воздух, потребуется совет своего помощника-консультанта Сергея Грохова («Что делать? Как спастись в этой войне?»). А советника нет! Теневский – да, не дурак, хитрый, крученный, но он даже в кошмарных снах не может допустить, что эта дерзкая подстава, грозящая кровавой межклановой войной, – дело рук его скромного помощника-консультанта.

Да, интересно, что они сейчас там предпринимают, но надо потерпеть, он узнает все через несколько дней. А сейчас Киев и Москва должны быть дальше, чем Венера с Марсом. Ибо он, Сергей Грохов, добрался, наконец, домой, добрался до СЕБЯ! Дыбов сейчас – больше, чем Москва и Киев вместе взятые!

– Как теперь думать о вечном? – вслух переспросил он сам себя и ответил: – А очень просто. На то ты и Грохов, чтобы уметь быстро переключаться, управлять своей мозговой работой...

«Итак, я – умру. Согласен. Уже согласен. Но как это будет? Как это МОЖЕТ быть?.. Тело бренное исчезнет, иссохнет, иссякнет, тут все ясно. Но как может исчезнуть то, что в душе? Ведь оно – твое, даже шум воды – твой и только твой. Ведь в голове – не та река, в которой купают свои тела тысячи людей, не те камни, на которых греют бока все, не те тропинки, по которым прошли многие твои друзья, нет! Это твоя собственная, цельная, живая картина, произведение искусства, созданное тобой! – картина, которую ты перенес в себя. И там, в своей душе, ты ее улучшил, ты ее очистил, ты ее возвысил до уровня космоса, вечности, ты сам создал свой уникальный мир и в нем живешь. И не взять его с собой невозможно. Как же можно оставить то единственное, что тебе всецело принадлежит и не может принадлежать никаким наследникам?.. Если бы человек мог свой мир взять с собой (ну кто против? – он ведь не материальный, не вещественный!), вопрос жизни и смерти был бы решен. Но он не может! С другой стороны – не может же быть, чтобы нечто, некая ценность, никуда не исчезала и никому не оставалась...»

– Нет, – произнес он вслух. – Не уеду отсюда, пока с этим не разберусь. Потому что – пора. Могу! Могу, черт возьми, наконец, нечто понять и успокоиться... А пока – вернемся к нашим девушкам, – решительно выговорил Грохов и уже почти весело добавил: – Жизнь-игра продолжается.

И он испытал спокойную радость оттого, что может теперь так просто перейти от сложных мыслей к легкой жизни.

4

Назавтра в полдень он сидел на центральном дыбовском пляже, под старой ивой, выросшей между камнями, на ее выпростанных наружу корнях, отшлифованных тысячами туго натянутых плавок. Здесь, под густой, слишком прохладной тенью никого не было, зато отсюда был виден весь пляж, как на ладони. Правда, такое сравнение сейчас было бы неуместным – Грохов знал, что значит «как на ладони». Часто во времена солнечной юности они с друзьями усаживались здесь, и в большой морской бинокль (в то время еще не пропитый) Толика Идри-

сова, однокашника, бредящего морем, рассматривали весь пляжный контингент, прежде всего, конечно, женский. И девушки, со всеми их достоинствами, которые попадали под увеличительные линзы, были действительно как на ладони.

«Наташа-2» и ее вчерашняя подружка – симпатичная, большеглазая, коротко стриженная брюнетка (наверное, крашенная), с красивым, до блеска отполированным солнцем телом, – сидели в самом людном месте, на одном из камней, преградивших быстрое течение и образовавших шумный, пенящийся залив для купания.

Какой-то парень лет двадцати плескался возле девушек, то и дело обрызгивая их, – явно не случайно. Он дурачился: то погружался с головой в воду, то выпрыгивал, как дрессированный дельфин, почти всем телом, и, падая, сильными хлопками рук взрывал брызги. Девушки отворачивались, прикрывали глаза руками.

Грохов подошел к воде метрах в трех от них, присел, с улыбкой посмотрел на нее. И, получив в ответ вопросительную полуулыбку, набрал пригоршню воды и брызнул на голову слишком раскупавшемуся парню.

– Слышь, приятель, остынь. Нырни минут на двадцать, – по-деловому предложил ретивому купальщику и снова повернулся к ней, улыбнулся.

Девушка невольно ответила теперь уже полной улыбкой.

– Что-о? Дядя, исче-езни, – презрительно растягивая слова, набычился парень, вылезая из воды, подтягивая модные, длиною до колен желто-цветастые трусы. Демонстративно поигрывал плечами и мышцами груди.

Сергей не вставал. Поплескивал руками по воде и не отводил глаз от объекта своего более чем пляжного интереса, вроде бы и не замечал надвигающуюся угрозу.

Молодой человек подошел почти вплотную к его плечу, остановился.

– Встань, дядя! – потребовал.

А Грохов снизу вверх все глядел на девушку. Увидел на ее лице тревогу. Ему было интересно, как его поступок и вся эта ситуация отражается в ее глазах – таким образом он изучал, узнавал ее.

– Ты что, не слышал? – наступал задетый за живое молодой, мускулистый дыбовчанин. – Встать! – коротко гаркнул он.

– Ну, если просят, – развел руками Грохов, и очень просто ей – только ей! – объяснил: – Если просят, надо встать.

Медленно поднимаясь, все с такой же приветливой улыбкой смотрел на нее. Наконец выпрямился в полный рост, с тем же добродушием на лице обернулся к противнику. Тот процедил:

– Быстро чухни отсюда, чтобы тебя долго искали. Ты понял?

– Конечно, понял. А ты меня не тронешь? – бесхитростно спросил Сергей и добавил: – Если тронешь – утонешь.

– Что-о? Что ты сказал? – напыжился парень и ладонью, легонько – видно было, не очень-то хотел доводить дело до физического выяснения отношений – артистически небрежно толкнул Грохова в грудь. И в следующую секунду, словно сбитый сильным течением, столбом повалился в воду от молниеносной оплеухи. Это действительно был не удар, а хлесткий хлопок открытой ладонью по уху. Настолько резкий и неожиданный, что далеко не все зрители, а их было немало, поняли, почему один из спорщиков упал в воду.

Парень не собирался тонуть, потому что глубина была ему по плечи, и, видимо, тоже не успев понять, что произошло, рывками поворачивал пучеглазо-недоуменную физиономию то в одну, то в другую сторону.

Но Грохов смотрел не на него, а на нее. «Вот то, чего я ждал. Вот! То же восхищение, точно такое же, как в глазах той студентки за плотиной. То же самое! Как все женщины похожи...»

Ни на морщинку не изменилось выражение лица, доброе, благодушное, – он все той же улыбкой приглашал ее к чему-то интересному, важному, таинственному. И она, казалось, уже давным-давно – минуту, час, год, целые века назад – была готова к этому приглашению.

Мало кто на пляже обратил внимание, как дернулись двое молодых людей на помощь другу, который упал, однако не успели даже встать. В тот же момент их резко остановили властные окрики ребят постарше, мужиков, на время отложивших преферанс, среди которых был Келя...

– Простите, что так некрасиво получилось, – подойдя к девушкам, сказал Грохов.

– Почему же? Вы его классно... красиво успокоили, – с волнением, как ему показалось, переходящим в укор, проговорила она.

– Я не виноват. Он мне мешал.

– ВАМ мешал?

Ударное «Вам» сразу же ее отдалило, и тот восторг, который еще минуту назад заметил Грохов в девичьих глазах, можно было считать теперь ошибкой стареющего мужского зрения.

– Да, он мешал мне смотреть на вас. Ну, простите еще раз.

Сергей слегка пожал плечами – мол, так получилось, и сделал вид, что собирается уходить. Но она спросила:

– А вы кто?

– Это другой вопрос! – с готовностью отреагировал он. – Давайте поплаваем? Вон там, на спокойной воде.

И, не дожидаясь ответа, предложил ей руку. Она сначала инстинктивно протянула руку, но, едва коснувшись его пальцев, одернула: «Я сама».

«Что-то не то получается, – думал Грохов, идя чуть позади девушек. – Не так, как ожидалось. Или все-таки «то»? Что здесь скорректировать? Как? Да и парня я слишком сильно ударил, по-настоящему. Но с другой стороны, если бы не по-настоящему, как бы все выглядело? Не знаю, о чем Келя с ним договорился, все равно надо ему бутылку поставить. Это будет логично».

Потом выяснилось, что никакого договора не было. Келя думал, что тут же, на месте, когда придет Сергей, все и придумают, и разыграют. Договорятся с одним из местных, вроде бы хулиганистых, задиристых на вид ребят, который должен будет приставать к ней и от которого Сергей ее защитит. А получилось все без договора, естественно, хотя эта естественность могла закончиться по-другому. «Ты понимаешь, что я мог попасть совсем в другую игру? – спрашивал потом Келю. – Если бы тот парень оказался построптивее, а друзья его посмелее, что было бы?». «Да все класс, Серый. Все хорошо получилось, чего ты?», – оправдывался Келя. «Да, все верно. Иногда жизнь сама предлагает сценарии не хуже, чем загодя подготовленные, успевай только им следовать, – думал Грохов. – Тем не менее, бутылку мира все равно парню надо поставить...»

Остановился рядом с подружками на песчаном берегу тихого озера, образовавшегося между шумной втекающей и вытекающей из него водой. «Все. Искупаюсь и... Дальше видно будет...» Он размышлял: разбежаться и прыгнуть или спокойно зайти в воду. И вдруг почувствовал ласковое прикосновение теплой маленькой ладони к его руке и с живостью ответил тем же. Они стояли несколько секунд не шевелясь, глядя вверх камней, деревьев, дальнего мостика, крутой горы – в далекое, обнаженно-чистое небо.

Здесь их почти никто не видел, кроме скучной подруги и двух купающихся в заводи подростков. Само озерко хорошо просматривалось с центральных пляжных камней, только этот узенький песчаный берег, за которым уже фактически начинался парк, был закрыт кустарником от большинства любопытных пляжников.

Он взял двумя руками ее кулачок, спрятал в своих больших ладонях. Она хотела что-то сказать, в глазах был вопрос, но он предложил:

– Давайте начнем все сначала, по-другому. Давайте?

– Давайте...

– Вы будете вон на том камне меня ждать, он называется «крокодил», хорошо? Ждите, – и скрылся в зарослях.

– Хорошо... – проговорила она уже сама себе. Потому что не было рядом даже подружки, которая понимающе поплыла на другой берег озера...

Он вынырнул у самых ее ног. И нежно коснулся ее колен – будто священного, уникального цветка, тончайшие лепестки которого ни в коем случае нельзя ни примять, ни осыпать, зато сам цветок обязательно нужно взять в руки. Затем одним движением перебросил свое упругое тело через камень, как через гимнастического коня, и сел – ногами в другую сторону, локоть в локоть с ней.

– Как вас зовут?

– Таня, – и звонко засмеялась. – Наконец-то. А вас?

– А я Сергей. А я так и думал.

– Что?

– Что у вас должно быть прекрасное имя – как и вы сами.

– Да? Спасибо.

Она так склонила голову к правому плечу, что на миг судорога сжала его грудь: это было движение Наташи, копия. И чуть не сказал ей об этом. Вовремя спохватился, нельзя было говорить о маме, это могло испортить всю игру.

– Танечка, а вы знаете, как эта скала называется? – указал на крутую возвышенность.

– Ой... забыла. Мне говорили...

– Иван-Наталья. Хотите, я вам расскажу историю этой горы? Это история великой любви! – Он своим взглядом пытался зажечь в ее глазах огонь, если не любви, то интереса к великой любви и – увидел искорки.

– Да, – пылко ответила она. – Хочу.

– Значит, давайте встретимся вечерком. Вы ведь меня не боитесь?

– Вас?.. Нет, не боюсь, наоборот...

– Что наоборот?

– С вами, наоборот, можно ничего не бояться... по-моему...

Она опустила глаза, и тут же, взмахнув ресницами, брызнула таким взглядом, что Грохов даже немножко испугался. Этот взгляд был ему знаком, по крайней мере, видел его у нескольких женщин. Этот взгляд говорил: «С тобой – хоть на край света...»

– Вот туда и пойдём. К Ивану и Наталье. Он был обыкновенный парень Ваня, но оказалось – необыкновенный. И она тоже – легендарная девушка Наташа. На-та-ша! – Он проникновенно произнес имя ее мамы (здесь оно не повредит, а даже сработает в плюс). – Они любили друг друга и вместе погибли. Вот туда и пойдём. Постоим на краешке.

– На краешке земли? – чуть лукаво улыбнулась Таня.

– Да. И земли, и неба, и космоса. Мы пройдем, легко и невесомо, по вселенной и остановимся на самом краю, там, где встает пока еще невидимая, далекая, юная, красивейшая, светлейшая, ярчайшая звезда! – Он жестикулировал как фокусник, у которого в руках и вправду вот-вот вспыхнет звезда. – Мы увидим ее первыми, это будет ваша звезда, мы назовем ее вашим именем!.. – Он закрыл глаза, как поэт, продекламировавший свои сокровенные стихи.

– Как романтично...

И оба искренне засмеялись, понимая, что весь этот разговор – игра, которая обоим нравится.

Они сидели на «крокодиле», продолговатом камне, едва выступающем из воды, и все чаще, вроде бы случайно, касались плечами друг друга. Он едва сдерживался, чтобы не поло-

жить руку на ее бедра, раздавшиеся под плавками девственно упруго, маняще до умопомрачения...

– А где вы живете? Наверное, не в Дыбове? – поинтересовалась юная собеседница.

– В Москве. Точнее – в Киеве.

– Вот как! Так в Москве или в Киеве?

– И там, и там. Хотя душой, сердцем я всегда в Дыбове. И сегодня еще раз убедился: правильно делаю. Знаете, почему?

– Почему?

– Потому что только в Дыбове можно встретить такую красивую девушку.

– А я не местная, – игриво сообщила Таня.

– А я и говорю, что в Дыбов приезжают красивейшие девушки. Потом они, конечно, попадают в Москву.

– Как? Все?

– «Все» – не то слово. Потому что красивых девушек, таких как вы, мало.

– Вряд ли я буду в Москве, – с грустинкой вздохнула она.

– Почему же? Сегодня вы уже здесь, а завтра будете там, в столице. А может, в Киеве, тоже столица.

– Как это?.. Когда?

– Я еще не знаю, но что вы скоро там будете – уверен.

Она задумалась. Потом энергично захлопала ладонями по воде и спросила:

– А что вы делаете в этих столицах? Где работаете?

– Я учитель.

– Учитель чего?

– Жизни.

– Ну, понятно, все учителя учат детей жизни. А какой предмет?..

– А как вы думаете?

– Физкультура?

– А вот и нет.

– История?

– И тоже нет.

– Тогда-а... Не знаю.

– Понимаете, Танечка, больше всего в жизни я не люблю кого-нибудь чему-нибудь учить.

А приходится. Приходится учить больших, взрослых и очень уважаемых дядей. Они ведь как дети... Ну – это специфическая учеба.

– Понятно. Хотя... ничего не понятно...

Почувствовав, что разговор теряет ту заманчивость, ради которой и был затеян, он под водой легонько сжал ее руку и, открыто глядя в ее чистые, бирюзово сверкающие глаза, очень серьезно, тихо произнес:

– Я объясню. Я все объясню, если хотите.

...Когда много лет назад он впервые вблизи увидел глаза Наташи – чуть не упал. В дыбовском универмаге случайно столкнулся с незнакомой девушкой на повороте торговых рядов и случайно заглянул в ее глаза. Таких глаз еще не видел (да и потом, никогда больше не встречал, и у Тани – все же не такие): они были синие-синие, ясные-ясные, светлые-светлые... Не просто ясные, светлые, яркие, а именно – синие, как небо, без единого облачка, невероятно ясное, небывало синее, глубокое, бездонное, манящее, пьянящее. Из универмага, где и не пахло алко-голем, он тогда вышел пьяный...

5

Огромная лучезарная Венера, пригласив на небосвод молодые звезды, опускалась, освобождая им пространство, покорно склоняясь к темной полосе цепкого, беспощадного горизонта. Музей – бывший замок княгини Лопухиной, гора Иван-Наталья, подвесной мостик к ней, зеленая поверхность парка темнели, погружались во тьму, в нечто невидимое, мутное, в темень далеких лет, веков...

– ...В тот вечер они решили бежать, – продолжался рассказ. – Решение не было подготовленным, возникло вдруг, неожиданно, в связи с обстоятельствами. Иван с Наташей решили бежать. Несколькими днями раньше в Дыбов, в имение отца, крупного дворянина графа Теневского (Грохов назвал первую пришедшую на ум фамилию), приехал его сын – двадцатипятилетний красавец Пьер. Он часто сюда приезжал, с малых лет, как только начиналось лето – так он сюда. А чего же не ездить – красота какая!

Выйдя из замка с компанией привезенных с собой таких же петербургских молодцов-гусар, когда часовые черкесы уже готовились поднимать мосты с двух сторон замка, когда солнце на западе уже окуналось в кроваво-красную воду реки, и на парк уже опустилась тень, они, после обильной трапезы, облизывая жирные губы, прохаживались по верхней террасе. Гора напротив, отделяемая от замка ущельем, – именно эта гора, нынешняя Иван-Наталья – еще светилась, залитая солнцем, сиреневым озером плыла по тускнеющему небу. Шумная пьяная толпа двинулась в сторону этой горы по мосту. Пьер строгим жестом предупредил вытянувшихся в струнку охранников, чтобы те, по привычке, не подняли мост раньше, чем они вернуться.

Вечерело. В это время из парка, как всегда, перед поднятием моста, в город возвращались крепостные девушки, работавшие в парковых садах. Они шли мимо замка, потому что другой дороги не было, правда, отдельной тропой, отгороженной от замка каменной стеной, мимо конюшни. А на конюшне работал Иван, который вот-вот должен был, по-нашему говоря, сдавать экзамены на кучера, а кучером у дворян такого звания мог стать только сильный, статный, красивый мужчина.

На мосту они встретились – группа великосветских господ и стайка крепостных девушек. Можно только представить, как разглядывали молодых русоволосых дыбовчанок братья-славяне голубых кровей, – конечно же, совсем не как сестер, а как специфический товар. Пьер выделил ее сразу, Наталью, как только встретился с ней взглядом. Таких глаз, как у нее, он еще не видел, не встречал ни в Питере, ни в Париже. Они были пьяняще синие, непостижимо, головокружительно, сногшибательно синие... И он решил забрать ее с собой, увезти в северную столицу. Велел собираться.

Она, восстав против такой судьбы, рассказала все своему возлюбленному – Ивану. Они решили бежать. В далекую Сибирь, – был слух, что в той необъятной стороне есть такие неосвоенные пространства, что их вовек не найдут.

Но – не успели...

Ночью их стали искать. Весь Дыбов, все окрестное население было поднято на ноги. Их, двоих влюбленных, видимо, кто-то заложил, как говорится, сдал. На всех дорогах дежурили односельчане и стражники Теневского, кричали, пересвистывались, жгли костры.

Иван с Наташей спрятались в ракитнике. Путь был один – перейти вброд реку, там, где можно уцепиться за каменные пороги, и скрыться в парке. А дальше видно будет... Хотя они уже понимали, что дальше – ничего не видно, дальше пути нет, свободной дороги – не будет...

Они перебрались через речку в том месте, где спустя два столетия образуется уютный, каменно-песчаный центральный дыбовский пляж. И долго сидели на гладком, остывающем

после дневного тепла береговом камне. Пока не утихли людские и даже лягушачьи голоса. Уже не было активного движения окрест, не лаяли собаки, – лишь дымок от угасающих костров напоминал о чем-то дотла сгоревшем.

Дыбовские собаки умолкли. Но сквозь глухой, однообразный шум воды им послышался вдруг какой-то слабый вой. Он доносился не со стороны города, а из-за горы, из-за парка. Может, выла одичалая собака, может – одинокий волк, а может, просто почудилось. Он был тихим, этот вой, но такой пронзительный, что, казалось, вобрал в себя всю боль, всю невысказанную тоску и всю тщету мира – не только человеческого, а всего живого мира, не только мыслящих, но и всех мыслимых, трепыхающихся в вечных тисках смерти биологических соединений, которые умеют, способны что-то чувствовать.

И они решили не убежать, а... улететь. В другой мир, в другое пространство, в другую вселенную, которая их примет, и никогда, ни за что, ни в какие времена не разлучит.

По узенькой, круто взвившейся тропинке, стянутой, как арматурой, прочными сиреневыми корнями, влюбленные поднялись наверх. Приблизились к самому краю отвесной скалы. Дна не было видно – его закрывали густые кусты сирени, облепившие даже отвесную плоскость горы. Да зачем было мерить глубину, это было неважно. Слышно было, как где-то внизу шумела, стонала в тесных каменных берегах река. Они обнялись. Замерли. И долго так стояли – казалось, вся жизнь, как вода, с тихим плеском протекла под ними. Потому что они уже были НАД – над рекой, над камнями, над этой горой, над чуждым замком, над чуждой землей, над чуждым временем. И над чужой, не принявшей их любви, жизнью!

Не разжимая объятий, ступили еще полшага. Последние. Их глаза встретились и все сказали: самое важное, единственное – они вместе. Затем их взоры обратились к звездам. И туда, не вниз, а вперед-вверх потянулись их тела... На миг, на какое-то мгновение река застыла. Все законы мироздания, весь колоссальный космический часовой механизм, который управляет всеобщим, равнодушным к земле и людям, движением – остановился! Все звезды на миг перестали мерцать! Луна, закрывшись маленьким густым облаком (где она нашла его в чистом прозрачном небе?), отвернулась от Земли и...

Сергей пристально в темноте посмотрел на Танино лицо: она улыбалась, прикрыв глаза. Но в следующую секунду понял, что это не улыбка, а гримаса боли; глаза ее не улыбались, а сверкали искристыми капельками последней надежды, готовой сорваться в пропасть непоправимого, невозвратного, невосполнимого...

– И что?.. – спросила она в отчаянии.

«Потрясающе!», – подумал Грохов. Увидел, что ее глаза в слезах, что она сейчас вся там, в рассказе, и наклонил голову, чтобы не выдать невольной улыбки.

– И – ничто, – поднял уже серьезное лицо. – Дальше было одно сплошное «ничто», все кончилось. А им всего-то и нужно было: посмотреть друг другу в глаза и поверить в жизнь вечную, в вечную любовь – при Луне или при свечах. Тогда ведь не было электричества, не было телевидения, радио, компьютеров, да и не нужно им было всего этого. Один огарок свечи – и достаточно, чтобы увидеть глаза друг друга, только глаза, заглянуть в них и уже не сомневаться, что они вместе – навсегда, навеки, до окончания времен – вместе. Так могут говорить только глаза, а не уста. Уста – чтобы их целовать, а говорить нужно глазами. Слов не надо, слова мешают – есть понимание рук, губ, глаз, и не надо никаких членораздельных звуков, они разъединяют, а двоим, двум сердцам – нужно единение... Свечи и глаза... Глаза и свечи!..

Он умолк. Весь этот рассказ сочинил на ходу, не зная, что здесь происходило, не зная толком даже легенды (но гора, точно, называлась «Иван-Наталья»), а закончил свечами не случайно. Она смотрела в звездную даль. Именно в эту даль, сверкающую этими же звездами, столетия назад пытались улететь двое влюбленных. А он ждал, когда ее взгляд разрешит ему пригласить ее к себе домой. Ведь только затем и была придумана и рассказана душещипатель-

ная, будоражащая ранимое девичье сердце история. Только затем надо было оживить камни, воду, звезды (оживить для нее, для него они были всегда живыми).

«Тфу», – вдруг мысленно одернул себя, едва не назвав ее Наташей. Значит, следовал вывод, надо почаще произносить имя. И, улыбнувшись нетипичной в последние годы романтической забывчивости, сказал:

– Танюша!.. Танечка!.. Ау! Мы здесь, в двадцать первом веке. – И, снизив тон почти до шепота, промолвил: – Но тем не менее, в моем доме есть свечи. Пойдем и зажжем их?..

Она легко покачала головой в знак отказа.

– Пойдем... – полуутвердительно-полувопросительно прошептал на ухо.

– Нет, – тихо, отчетливо ответила Таня, опустив глаза.

– Танюша, посмотри на меня, я хочу видеть твои глаза. Пусть скажут «нет» – и больше не будет вопросов. И предложений тоже. Я обещаю.

Она, напротив, низко опустила голову. Затем двумя руками обняла его руку, прильнула к ней. Однако тихо и строго повторила:

– Нет.

Они сидели на скамейке в парке, перед глазами на полнеба вздымалась могучая, таинственная тень горы любви и смерти.

– Ладно, тогда пойдем соловьев слушать. Там, на горе, они такое вытворяют, просто душу рвут...

– Давай еще посидим, – попросила она задумчиво, сильнее прижимаясь к руке, будто он без нее решил идти к соловьям.

– Ну хорошо, – согласился Сергей, отдаваясь естественному течению событий.

И самое время, подумал он, вернуться к течению мыслей, главных мыслей, не додуманных днем здесь же, в парке. Да... Двадцать лет назад никогда бы такое не пришло в голову – думать о серьезных, глубинных вещах, когда к тебе прижимается девушка. В том-то и дело, в двух десятках лет. Именно сейчас, несмотря на всю кажущуюся неуместность таких мыслей, есть смысл их «завести» – это будет еще одним свидетельством умения жить, умения не зависеть от обстоятельств, владеть своими мыслями в любой ситуации, переключаться на нужный регистр, невзирая ни на что.

«Так что же за чувство такое, черт возьми, а?.. – снова шагнул он в отстаивающуюся с годами муть своей души. – Чувство прощания?..» И вынужден был ответить самому себе: да. Но это уже не слезно-тупиковое прощание, а осознанное, – прощание, вобравшее груз пережитого, груз жизни... Так дерево прощается с грузом плодов, которые долго накапливали вес, впитывали жизненные соки весной, летом, еще и осенью, и – спокойно отпускает их. Потому что знает – дерево знает! – уже не надо плоды удерживать, а надо, наоборот, освободиться от груза. Вот так и ты хотел бы – тихо, без боли исчезнуть? Навсегда или на время? Ты хотел бы, чтобы, как дерево, на время, – и груз кому-то отдать, и потом возродиться? Не получится, дружище... Наверное. Впрочем, кто ты такой, чтобы оперировать такими понятиями как «на время» или «навсегда»? Не дано тебе понять этого... А ведь удивительно: если бы глядя, как замирает, чернеет дерево осенью, ты не знал, что придет весна, – разве поверил бы, что оно когда-нибудь вновь зазеленеет?

Неужели все то, что я создал, мой храм души, так же бесследно канет, как исчезает песочный домик, смываемый обыкновенной волной? Равнодушной волной смерти... О, да... Нет! Это жизнь – как волна: накатилась – и отхлынула, и ничего не осталось. Вместо нее – вторая, третья... А той, единственной волны, которая есть ты, уже не будет, никогда... Лишь прилив – это может быть великая жизнь, великого человека, – способен что-то изменить на берегу, да и то немного... Миг жизни – и безбрежный, бесконечный океан небытия...

Так небытие или вечность?.. Неужели дух человеческий, высшая форма живой материи, так же тленна, как и низшая, нижайшая?.. Как удивительно, невообразимо, просто фантасти-

чески: какой-то Томазо, какой-то Альбиниони когда-то давным-давно одной своей музыкальной темой все сказал. Все!..

И, лишь на миг вспомнив, что рядом с ним девушка, стал, не раскрывая рта, напевать знаменитое «Адажио» вслух. Спел тихонько две музыкальные строчки, украдкой посмотрел на Таню. Она молчала, судя по всему, тоже была в соответствующем настроении, и продолжил. После шестой строчки остановился – в самой музыке была пауза – и последние такты спел громко, отбивая ритм ладонями по бедрам.

– Зачем же так грустно? Зачем так, Сережа?..

Она, впервые назвав его так нежно, как некогда ее мама, крепко обхватила его руку, прижалась щекой к плечу. Он нырнул в щекочущий, напоминающий запах акации, аромат ее волос, шумно вдохнул. Затем высвободил руку и обнял ее за плечо.

«Еще раз предложить пойти ко мне? Сейчас?.. Может, чуть позже? Посмотрим, будет видно, когда...» – решил он и вернулся к своим размышлениям.

«Как, как же можно уйти и все, что тебя наполняет, – твои мысли, чувства, желания, готовность (уже почти полную готовность!) всем все простить, – оставить?.. Пусть, пусть этот видимый всем мир, река, песочек, кусты, парк, луна – пусть все это остается людям: ты пришел – оно было, ты уходишь – оно остается. Всего этого – не жалко! Жалко другого мира, похожего на этот, но созданного тобой! Его в самом себе жалко! Ведь он живой! И от него отказаться? Нет. Нет... Ты чувствуешь, знаешь – ты умный, зрелый, трезвый человек, – что с собою ты свой мир не заберешь, хотя он твой, он исключительно твой. Кому-то передать – нельзя и не нужно. Но и оставить, не взять с собой – невозможно...»

Подожди! Но может, потому ты уже не плачешь, не ноешь, не скулишь, и светел твой взгляд, и спокойно сердце, что все свое ты как раз и забираешь? Созданное тобой, выстроенное, скрупулезно выложенное по камушку, слезинками застывшими скрепленное здание души, ради которого, выходит, ты жил, – ты и забираешь. Ведь оно есть! Вот сейчас ты сидишь с девушкой, касаешься живой плоти, обнимаешь ее, но ты – там, в построенном тобой здании, в своем доме... И вот... Ты справедливо поделил имущество: взял то, что тебе причитается, по праву принадлежит, остальное отдал другим, поэтому спокоен. И получается, что главное не в том, что ты имеешь, а в том, что ты строил и для кого. И если ты заблаговременно понял, что два мира надо разделить еще при жизни, что этим надо заниматься – строить что-то для них (детей, близких) и строить для себя, – тогда перед последним вздохом ты будешь спокоен. Ибо будешь четко знать, что свое ты уносишь с собой, – надо только смотреть на это свое, думать о нем и быть уверенным, что оно всегда будет там, где окажешься ты...

Стой! Как ты сказал? Прощание?.. А может, в том и смысл зрелой, высоко сознательной жизни, чтобы прощаться? Вот сколько живешь, сколько осталось тебе смотреть на мир – столько и прощайся. Но цепко держи свое, построенное...»

– Почему они не убежали? Почему?.. – донесся тихий голосок Тани.

– Кто? Куда?..

– В Сибирь... Да хоть куда, хоть на край света...

– А-а, – дошло до Грохова.

А подумал о другом: было бы счастье, высшее счастье, если бы то же самое происходило двадцать лет назад. Если бы точно так он сидел, обняв красивую, чуткую, трепетную девушку, и думал о своем...

– Мы бы убежали. И любовь была бы спасена, – проговорил, на всякий случай полушутя, как бы обращаясь к тому же небу, к тем звездам, к которым тянулись погибшие влюбленные.

Таня посмотрела на него серьезным, с распахнутым ожиданием взглядом. Он этот взгляд почувствовал раньше, чем увидел.

А когда, медленно повернувшись, заглянул в дрожащую, влажную темноту ее глаз, то увидел там блестящие звезды. И в безбрежно расширившейся округлости ее зрачков, как в зер-

кале, увидел круги своей жизни, сначала уходящие спиралью в никуда, а затем возвращающиеся, все ближе и ближе к зазывно сверкающей отправной точке, исходной и конечной, – к этим глазам. Точнее – похожим, чем-то похожим на те незабвенные глаза...

– И ты меня не бросил бы? Никогда-никогда, где бы мы ни были? – очень серьезно спрашивала Таня.

– Нет, Танюша, никогда. Я был бы с тобой. И буду с тобой. Буду, буду, буду... – говорил все тише, касаясь губами ее губ.

И уже не он, не словами, а сама ожившая вечность слиянием горячих, трепещущих, чувствительнейших клеточек передавала ей тайный смысл единения двух...

– Откуда же ты взялся, Сережа?..

Она говорила не в глаза, не на ухо, а, лежа на его груди, передавала вибрацию своих размякших губ его «адамову яблоку». Он слушал грудью биение ее обнаженного сердца.

– Здесь. В этом доме я родился. Родился в роддоме, конечно, но оттуда меня привезли сюда.

– Нет, я в другом смысле: откуда ты взялся ТАКОЙ? Все рождаются в роддоме, всех привозят домой. Но откуда ты ТАКОЙ взялся?

– Какой?

– Ну... такой, – она загадочно улыбалась, сжимая крепко его руку, подбородком лаская его грудь.

– Спи, милая. – Он погладил ее волосы, высвобождаясь. – Я сейчас вернусь.

– Куда ты? – встрепенулась она.

– На улицу. Я сейчас.

– Я с тобой...

– Не бойся, глупенькая, – он поцеловал ее в лоб. – Это надежный дом, здесь все спокойно.

– Я не боюсь. Я с тобой хочу... Ну ла-адно, – выдохнула с игривой фатальностью...

«Откуда же ты такой взялся?» – повторил Грохов, тихонько закрыв за собой дверь.

Если бы он захотел честно ответить на этот вопрос, то сказал бы: «Во-первых, Танюша, я не такой, как ты думаешь. А во-вторых – ты даже не представляешь, моя девочка, насколько справедлив твой вопрос: «Откуда я такой взялся?»»

Глава 2

6

В спортзале гремел баскетбольный мяч, гулко ударяясь о пол, о стены. Удары мяча вместе с криками играющих ребят пробивались на улицу и больно отдавались в сердце. Сергей слушал эти звуки – как последние звуки жизни, как стучащий в висках смертный приговор.

Он стоял снаружи, в зимних сумерках, один, возле большого низкого окна недавно построенного школьного спортивного зала, по меркам старой школы – огромного, суперсовременного. И плакал.

Приговор был вынесен врачами на первой допризывной комиссии в военкомате. Звучало все просто: ревматизм сердца, ревмокардит. Но для Сергея этот обыкновенный медицинский термин, распространенный среди подростков диагноз, означал конец всему.

Первым делом его освободили от уроков физкультуры. Кого? Сергея Грохова? Который был одним из лучших спортсменов школы? Первым гимнастом школы! Он и так уже два года не ходил на уроки физкультуры: Вадим Сергеевич, учитель, тренер по спортивной гимнастике, ставил ему пятерки. Иногда приглашал Сергея на урок только для того, чтобы продемонстрировал одноклассникам какие-то элементы на гимнастических снарядах, требуемые школьной программой.

И вот теперь его освободили. Не от физкультуры, этих примитивных уроков для недоразвитых, а от спорта – то есть от того дела, в котором авторитетом для него был лишь Вадим Сергеевич (кандидат в мастера спорта, а Сергей уже готов был выполнить норму перворазрядника, фактически их разделяла одна ступень), от движения к невиданным в школе высотам, от цели, которая была недостижима для других. Освобожден... Приговорен к свободе... от любимого дела.

Как понять? Оказывается, ждал его не взлет к вершинам мастерства, к вершинам красоты, не его собственный путь, пролагаемый пусть тренером, но благодаря собственному труду, таланту. А ждал – диагноз, который давным-давно, еще до его рождения существовал и который запросто ставит какой-то провинциальный врач. Весь безграничный полет души и тела – сильного, молодого, красивого – вдруг обрывается и загоняется в этот диагноз? И все? И больше ничего нет?.. Это огромное и страшное «ничего» не вмещалось в шестнадцатилетней голове.

Однако врачам поверил. И потому, что вообще пока верил людям, и потому, что колющую боль в сердце почувствовал сам (не поверил!), а доктора лишь озвучили, облекли в форму давно известного термина это потрясение.

Потом врачи за него взялись. Осенью и весной, когда болезнь, по их мнению, обостряется, он должен был проходить курс лечения, принимать по шесть уколов бициллина и глотать в невероятных дозах аспирин («Сколько же таких весен и осеней будет – все, какие остались?.. до конца жизни?..»)

Лекарства выдали на руки сразу, на весь осенний период лечения, – раз в неделю он приходил в больницу с флакончиком и ампулой и получал свой укол. Предписания врачей относительно лечения принял покорно и тупо. Но отказаться от гимнастики, от нагрузки на тело и результатов, которых достигало тело, – было невыносимо. Запрет на спорт был запретом на жизнь.

Однажды, после двух месяцев «свободы» от физкультуры, Сергей пришел на спортивный вечер, которые часто устраивал Вадим Сергеевич. Появившись три года назад, новый учитель

внес свежую струю в школьную жизнь, по крайней мере, для мальчишек. В школе до этого работали два пожилых учителя физкультуры, один из них, Павел Филиппович – совсем пенсионер. Хотя его рассказы о войне, об эскадрильи истребителей, в которой он служил, были интересны, но в том-то и дело, что он предпочитал рассказывать, а показать уже ничего не мог.

А Вадим Сергеевич, хотя и с большой лысиной (следствием, как рассказывали друг другу ребята, службы на атомной подводной лодке), которую он прикрывал слева, справа и сзади космами прямых черных волос и которая неизбежно обнажалась при активном движении, оказался учителем новой формации. Он бегал вместе со всеми, прыгал, ходил на руках. Весь его облик, несмотря на лысину, привлекал мальчишек, – смуглое мужественное лицо, прямой, заостренный нос, выразительный подбородок, мускулистая шея и, конечно, фигура атлета. Он напоминал Спартака (для тех, кто читал книгу или хотя бы фильм смотрел американский. Грохов и читал, и смотрел, три раза подряд). Беда Сергея, как потом он понял, была в том, что физкультуру в его классе по-прежнему преподавал Павел Филиппович, а настоящего учителя узнал лишь благодаря спортивным, именно гимнастическим вечерам.

В первый же такой вечер, когда другие уже показывали результаты (хотя больше года работала секция гимнастики, а Сергей все гонял в футбол, вроде бы ее и не существовало), он был просто очарован. Все перевернулось в сознании, – смутные юношеские мечты семиклассника, представления о красоте жизни вдруг обрели конкретные формы, формы гимнастических упражнений. С первого взгляда и влюбился в живую красоту. Ее символом стали ровные, вытянутые носки ног в белых носочках – в отличие от согнутых корявых ног футболиста в грубых бутсах. Те четыре восьмиклассника, которые в тот вечер продемонстрировали ему настоящую красоту, были на год старше его. Один за другим, на расстеленной на половину спортзала (тогда еще старого) матовой дорожке, показывали невиданные в школе номера, – связку «кувырок – подъем разгибом», затем «рондат – фляг – сальто». Особенно трогало то, что при выполнении заднего сальто тренер их страховал, слегка подталкивая ладонью снизу. Для Сергея это было очень важно, потому что воочию свидетельствовало: перед ним не заезжие циркачи, а свои ребята, которые научились творить красоту здесь, рядом, а значит и он, Сергей Грохов, сможет!

Записавшись в секцию в начале седьмого класса, через год догнал этих ребят, а через два года и обогнал. Слушал тренера, как бога, внимал каждому слову, каждый жест схватывал как откровение, впитывал каждую деталь каждого элемента («Если бы ты так занимался математикой!» – говорила мама). Дождаться не мог занятий, которые проводились всего три раза в неделю, занимался дома, подолгу шлифовал стойку на руках под стенкой, поджимался на перекладине, делал растяжки по утрам... Он не хотел верить, что эти перегрузки, как считали врачи, его и подкосили. Этого не могло быть! Не может быть, чтобы любимое дело – убивало (смутно чувствовал другое: это какое-то наказание... Чье и за что?..)

И вот теперь инвалид, калека несчастный, боящийся сделать резкое движение, чтобы не встряхнуть, не потревожить больное сердце, – появился на спортивном вечере. Готов был сквозь землю провалиться, раствориться от стыда за свою немощь, когда Вадим Сергеевич позвал его из толпы – учеников, учителей, родителей – в центр зала. Сергей покачал головой («нет, не надо...»), но тренер подошел, взял его под руку и вывел на обозрение всем. Ничего не значило для него, что учитель подвел его к выстроившейся по росту десятке лучших школьных гимнастов и поставил первым, хотя по росту он не был самым высоким. И короткая речь тренера, которой хвастался бы любой мальчишка, будь она произнесена в его адрес, Сергею еще больше причинила боли.

– Сережа Грохов, которого вы все хорошо знаете, с нами. Он на своем месте, не в обиду будет сказано другим нашим прекрасным ребятам, на своем, первом месте. Я думаю, я уверен, что он вернется к тренировкам, скоро вернется, и будет всегда здесь...

«Зачем он это говорит, зачем?.. – мелькало в голове. – Это... издевательство, это позор...» И он не выдержал. Со слезами на глазах оставил строй и под сотнями, как ему казалось, унизительно сочувствующих взглядов почти бегом вышел из зала.

И час, и два уединенно бродил по заснеженному парку, укоряя себя за то, что пришел на вечер. Понятно: Вадим Сергеевич хотел его поддержать, а что получилось? Зачем он выпятил его беспомощность? Зачем выставил его как неполноценного человека? Зачем?.. С каждым таким вопросом задыхался от невыплаканных слез отчаяния...

С таким чувством перетянул зиму. Уходил, где только мог, от сверстников и вообще от людей, пропускал уроки, когда неумоготу было идти в школу. Ходил лишь по инерции, больно было видеть глупенькие лица одноклассников. А одноклассниц?.. С ребятами еще чувствовал какую-то внутреннюю стойкость, было ясно, как их воспринимать, – со злостью (хоть какая-то позиция!), ведь они здоровые, они на том месте, например, Пашка Тарасов, где должен быть он... А с девушками – вообще никто и ничто. Стыдно... Больно, невыносимо... Да и с ребятами его стремление к стойкости было ненадежным, как зимнее солнце на кромке тучи...

Уже привыкал бродить в одиночестве в парке. Не в центральной части, где даже зимой на очищенных аллеях можно было встретить людей, тем более знакомых, которые, как мыслилось Сергею, подумают о нем с жалостью, а еще и заговорят. Нет, он забирался в чащу, кружил в лежале снегу, нащупывая летние тропинки намокшими ботинками («Простудиться, заболеть – не страшно, страшно быть вечно полуживым...»). Часто останавливался и, вперив взгляд в беспросветную вязь голых веток, замирал на долгие минуты.

Как-то, возвращаясь под вечер домой, в бессмысленное тепло своей жарко натопленной комнаты, остановился на высоком мосту. Под мостом был лед, а чуть выше по течению выпирали могучие каменные пороги. Это место называлось «шумки»: сверху – водопады, по бокам – каменные скалы разных конфигураций, разной высоты – до семи-восьми метров. А посредине – глубокая, но маленькая заводь. Туда и прыгали ребята со скал, это было поистине мужское место купания. Местные «тарзаны» выбирали скалы повыше, иногда, если хватало силы и решимости для нужного толчка вперед, летели головой вниз через две более низкие скалы. Нужно было попасть на глубокую воду, войти стрелой между камнями в узенькое, метров пять на пять, безопасное пространство. Потому что если чуть дальше, или ближе, или занесет в сторону... Ведь только приезжие зеваки, которые толпились на мосту, наблюдая за летающими телами, аплодируя им, не знали, не видели, что в каких-то десятках сантиметров от вонзающихся голов притаились подводные камни.

Несколько человек, на памяти Сергея – по крайней мере, троих, камни и подловили. Один из них – Санька Крюков, его ровесник из соседней школы. Тот, правда, споткнулся еще наверху, фактически упал, не толкнувшись как следует, на нижнюю скалу. Вода туда не доставала, и несколько дней кровь, затекшая в зазубрины камня, напоминала о трагедии, пока ее не смыли дожди.

Сергей не был свидетелем этого смертельного падения, но в тот день видел Крюкова немного раньше и знал: споткнулся он потому, что и на ровном месте шатался, когда вышел со старшими друзьями из «Ласточки». Пивной павильон стоял тут же, сразу за мостом. Именно он, а не скалы, погубил и тех двоих, взрослых мужиков. Но ведь и дураку, и пьяному должно быть ясно: выпил – не лезь. Некоторое время после гибели Саньки это действительно было ясно всем. Неделю в «шумках» стояла тишина, шумела только вода. Дошло до того, что родители, отцы любителей мужского купания, дежурили у моста с утра до вечера, гоняя всех подряд, – и своих детей, и чужих.

Но это скоро прошло, это было временно. А вечными оставались скалы над клокочущим водоворотом, и вечным было желание юности показать, утвердить себя. Несмотря ни на что многие «настоящие мужчины» и семи, и семнадцати лет считали, что они – не дыбовчане, если не освоят «шумки». Проводились даже неформальные соревнования: кто больше соберет

туристов, дачников на мосту, кто сорвет аплодисменты. Некоторые специально дурачились для зрителя, выделявая в полете всевозможные клоунские телодвижения. А Сергей имел свое амплуа – отличался четкостью, с какой входил в воду, с натянутыми носочками, да и его сальто никто не мог повторить...

А теперь, опершись грудью о холодные трубчатые перила моста, над зимними «шумками» стоял и стоял. Никаких прыжков больше не будет. Никогда. И лета никакого для него не будет. И весен тоже. Одна зима – долгая, бесприютная. Вечная... И река замороженная... Вон, под порогами вода не замерзает, брызжет одинаково и летом и зимой, пенится, пузырится – всегда живая вода... Вода и есть вода. Как учит физика, переходит из одного состояния в другое. Превращается в лед, который потом тает. А человек?.. Если сердце сдавило льдом, если кровь остыла, то уже не оттает... «Санька-то... хоть в полете, не в прыжке, так в падении, но как мужчина погиб, на скалах, а не на больничной койке... Неужели все кончено?..»

Не отпускали его камни, он впивался в них глазами, влажными то ли от слез, то ли от морозного ветра. А ведь скала – и зимой скала! Ведь камни на морозе – те же камни! Сергей представил, как лежит его бездыханное тело внизу, возле камней на льду, красном, забрызганном кровью. И – никаких проблем, никаких вопросов... Однако, даже представив эту коллоидную картину, увидев себя распластанным под мостом, неживым, все равно задавал вопрос: неужели все кончено?

Мало-помалу, пока стоял, вопрос видоизменился: «Почему я? Почему на меня это обрушилось? Почему мне, а не другому, вынесен этот приговор?..»

И перед ним открылась бездна. Бездна несправедливости. Не той, которую творят люди (этого еще не знал), а какой-то не зависящей от них, сверхчеловеческой, господствующей над землей всемирной несправедливости...

Сергей зачастил в библиотеку. Не потому, что так уж сильно хотел читать, а просто в жизни почти не осталось того, чем можно было бы заполнить голову и сердце. И подсознательно начал искать друзей в книгах («Друзей нужно искать в библиотеке, а не в жизни», – скажет когда-то себе, но для этого потребуются годы и годы), а от своих живых, ближних сверстников, которые очень редко бывали в городской библиотеке, хотел укрыться.

Именно там и встретился лицом к лицу с Витей Лужным – одним из тех одноклассников, которых меньше всего хотел видеть где либо еще, кроме школы (там – никуда не денешься).

Лужный, высокий, худошавый брюнет с карими до черноты, глубоко посаженными глазами, выделялся в их 9-А эксцентричным поведением. Мог запросто зайти в класс посреди урока, не обращая внимания на возмущение учителя. И так же спокойно мог выйти из класса – не только когда учитель, указывая на дверь, шипел: «Вон!», а сам, по собственному, одному ему понятному решению.

Не то чтобы Витя был отпетый разгильдяй, не способный к наукам, плюющий на учебу, недосмотренный родителями. А все наоборот, – когда нужно, мог утереть нос одноклассникам и в математике, и в литературе. Его мать была врачом-терапевтом, которую знал весь город, отец – тоже интеллигентный человек, главный технолог механического завода. По этой причине учителя и терпели его выходки, зная, что о них знает мать, и, видимо, зная еще что-то, объясняющее нынешнее поведение умного, способного парня. Еще год назад он был другим – примерным учеником, почти отличником.

Как-то на уроке русской литературы Сергей сидел, глядя сквозь большое окно второго этажа на унылую, местами припорошенную снегом, словно оплеванную, серую полосу зимнего парка, совершенно не слушая, что там рассказывает учительница. Думал, как еще долго ждать весны. Да и зачем ее ждать, если не знаешь, что делать этой весной, какую радость может при-

нести весна человеку с хронической болезнью. Единственное, что знал о предстоящей весне, – это то, что нужно будет проходить курс лечения, как и осенью, принимать уколы. Опять же – зачем? Ведь эти курсы лечения не лечат и никогда не вылечат...

Вдруг услышал неестественные, выходящие за рамки допустимого пререкания ученика с учительницей.

– Почему ты расхаживаешь по классу, давно звонок прозвенел? – возмущалась Лидия Антоновна.

– Хочу и расхаживаю, – отвечал, как равному, Витя Лужный.

– Сядь на свое место! – потребовала учительница.

– Да успокойтесь! – процедил Виктор. – Сядь да сядь, всю жизнь е... – Перейдя на злой шепот, по-уличному выругался. – Сама сядь, б... – договорил уже одними губами короткое ругательное слово.

Лидия Антоновна, учительница предпенсионного возраста с усталыми, цвета пожухлой травы глазами, со старомодной косой, закрученной на затылке, – сначала сильно покраснела, потом сделалась бледной, как мел, который держала в руках. Она действительно села. И замолчала...

Первый раз грубое слово в адрес учительницы так больно задело Грохова. «Никогда такого не было», – подумал. Тут же царапнуло воспоминание: Лужный и его уже не раз пробовал – правда, осторожно – оскорбить то словом, то ухмылкой. Впрочем, на рожон не лез, поэтому Сергей мало обращал на это внимание, хотя неприятное ощущение осталось. Только сейчас не было времени раздумывать, не было желания сдерживаться.

Он встал из-за своей парты посреди ряда и медленно, решительно направился на галерку, куда, споря с учительницей, отступил Витя. Классом вдруг овладела мертвая тишина – живыми были только глаза одноклассников: все поняли, что если Грохов – сильный и неглупый парень, который по известным причинам последние месяцы был тише воды ниже травы, – демонстративно встал и пошел к обидчику учительницы, значит, сейчас что-то произойдет.

А Лужный, казалось, этого и ждал. Пока Грохов шел, невольно замыкая траекторию десятков напряженных взглядов на Вите, тот откровенно усмехался.

– О! О!.. – протянул насмешливо, когда Сергей приблизился.

Тот подошел вплотную. Витя, вызывая ухмыляясь, произнес:

– Это у нас кто? Самый умненький-благоразумненький? Выйди к доске и покажи...

Больше Витя ничего не успел сказать. Сергей сделал еще шаг, толкнув его грудью, и тот оказался сидящим за партой.

– Что ж ты сел? – дрожащим от гнева и волнения голосом проговорил Грохов. – Пошли поговорим.

Все однокашники видели, как руки его сжались в кулаки, ноздри расширились. Но никто не видел и не слышал, как стучало его сердце, – гремело не только в груди, а билось, толкалось в голове, в ушах, в шее, в бицепсах...

Витя приумолк. Уже не улыбался, а смотрел снизу вверх с боязливым интересом, как бы пытаясь понять, что же дальше предпримет Грохов. Этого ждали все, в том числе и учительница, которая то ли не успела еще прийти в себя после оскорбления, то ли тоже была захвачена происходящим в классе небывалым действием.

– Пошли! – произнес Сергей призывно-приказным тоном. – Жду тебя пять минут. Не выйдешь – потом пожалеешь...

И, окинув скольльзящим взором затаившийся в неподдельном интересе класс, быстро вышел за дверь.

Только потом, прохаживаясь в пустом коридоре, успокаиваясь, понял, в какое положение поставил Витю: выйти – значит рискнуть нарваться на кулаки, ведь Сергей дал понять, что он,

хоть и сердечник, а полон решимости пустить в ход руки. А не выйти – значит опозориться перед всем классом, признать себя трусом.

Грохов улыбнулся, ему вдруг стало весело. И когда вышел Витя, громко хлопнув дверью, и, увидев Сергея, повернул в другую сторону коридора, не стал его преследовать. Потому что уже был победителем. Понял, как легко можно усмирить негодяя. А все благодаря чему? Силе, простой физической силе. И хотя с тревогой ожидал, что такая эмоциональная атака на сердце не пройдет бесследно, а отразится болью – колющей или ноющей, – в то же время осознавал: только что ЖИЛ. Впервые за долгие месяцы оцепенения на несколько минут ожил! И удивился: неужели только так, на грани серьезной схватки, и можно жить? Тогда нужно укреплять тело, нужно здоровье. А его-то как раз и нет. И что же делать?..

Однако уже через два дня его мнение насчет физической силы резко изменилось. Возвращаясь морозным вечером из библиотеки, непроизвольно поднял голову. И остолбенел. Его вдруг ошарашило – звездным залпом. Будто никогда раньше их не видел, звезд, вроде бы и не существовало до этой секунды неба, Вселенной, бесконечности мира, а был лишь один-единственный маленький клочок земли, где Сергей Грохов страдал.

Звезды не просто вдруг окружили крохотный кусочек планеты, на котором он переживал когда-то свои маленькие радости, а теперь большую беду, – нет, не только: они обращались к нему, куда-то манили, к чему-то призывали. Словно обнимали его сотнями сверкающих рук и подымали на доселе неведомую, невысказанную высоту, откуда все земное видится таким мелким, незначительным, до смешного претенциозным...

И жестокой была высота. Только когда Сергей опустил глаза, понял, что они в слезах. Теперь уж точно – не от мороза, не от ветра. А от того, что почувствовал, – от собственной ничтожности, такой жгучей, невыносимой, вечной своей малости перед безжалостным, сокрушительным величием космоса. Ведь и он, как все – маленький, тщедушный человечек, смешной в своих притязаниях, например, быть, как все, здоровым. А тем более – быть первым, победителем, быть лучше, сильнее других. Крепкое тело, физическая сила – какая же это мелочь... Какая же он шваль... Как щенок в этом мире... Тварь скулящая... Среди таких же тварей...

7

Обложившись несколькими томами «Всемирной истории» (особенно ему нравилось читать об античных временах) Сергей сидел за столом читального зала, и когда зашел Витя, сделал вид, что не заметил. Тот, оказывается, не просто забрел в библиотеку от нечего делать, он деловито направился к стеллажам, а через пять минут вышел с несколькими книгами, среди которых Сергей различил философский словарь и прочитал название еще одной книги: «Античная философия».

Витя не сразу сел, а подошел ближе к Сергею, к его столу, хотя читальный зал был почти пуст, мест хватало.

– Ну, так ты понял?

Грохов поднял голову.

– Что понял? Ты меня спрашиваешь? – на всякий случай посмотрел по сторонам, нет ли кого рядом. Витя спрашивал именно его, и не только голосом, а и глазами. В голосе звучало превосходство, взгляд был надменно-ироническим.

Сергею стало неприятно, он не знал, что делать, – не угрожать же силой опять, никаких причин для этого нет. Кроме того, он испытал вдруг смутное, скребущееся где-то над сердцем чувство, – то ли сожаления, что не довел тогда, на уроке литературы, дело до конца, то ли вины, что затеял эту ссору.

– Что понял? – повторил Сергей, уже слегка нервничая.

А Лужный все так же самоуверенно смотрел на него сверху вниз. «Не хочет ли показать, что теперь он выше, повторить ситуацию в классе, когда я стоял над ним, только поменявшись ролями?» – подумал Сергей.

– Ладно, – наконец сказал Витя. – Потом все поймешь.

И отошел с таким видом, словно Грохов существовал не наяву, а на какой-то ненужной странице не очень интересной книги, и эта страница только что была вырвана. Сергея глубоко задела эта оскорбительная недосказанность, однако делать было нечего, ведь, как он понял, Лужный на то и рассчитывал, чтобы оскорбить тонко, не переступая границы терпения, безнаказанно.

С того дня ему еще меньше хотелось контактировать с Витей.

И в классе Сергей выделил двух неприятнейших для себя типов, точнее, они сами в такой роли выделились – Лужный и Тарасов. Первый хотел унижить морально, второй – физически.

Пашка Тарасов, широкоплечий парень с ведрообразной, сверху вроде обрубленной, расширяющейся книзу головой, по-мужицки вздутыми жилами на руках, от которых исходила грубая сила, – был его старым соперником не только в спортивной борьбе, а и в борьбе вообще, то есть в обыкновенных уличных боях. После того, как Сергей заболел, Пашка стал первым спортсменом в классе, всем своим видом подчеркивал свое неоспоримое преимущество перед остальными одноклассниками. Но ему нужно было, чтобы Грохов признал его авторитет, иначе – как бы и не первый. Сергей же упорно не обращал на Пашку-спортсмена никакого внимания.

Года два назад их отношения, казалось, были выяснены раз и навсегда. В младших классах они постоянно дрались. Правда, то была полусуточная игра, допускались удары лишь по корпусу, а чаще всего – только имитация ударов. Однако по мере взросления такие ничего не значащие бои Пашка стал воспринимать серьезно, даже болезненно, и однажды ударил Сергея в живот неожиданно. Тот предупредил, что бить исподтишка не договаривались. Тарасов не послушал, – как-то налетел сзади, повалил Сергея и убежал. Тогда Грохов понял, что следующий бой будет «рейтинговым».

И вскоре все состоялось. На большой перемене их осталось в классе всего трое (несколько учеников просто выгнали) – судьей был избран Толик Идрисов, тоже неслабый парень, незлобный по характеру и в данном случае беспристрастный. Правила были прежними – не бить ногами, не бить по лицу и ниже пояса, побежденным признать того, кто окажется на полу или сам признает свое поражение. После стычки еще долго у Сергея болели ребра и левое плечо, но он одержал чистую победу. Хотя вначале сам испугался, когда после нескольких минут драки, казалось – равной, Пашка вдруг спиной прилип к стене, опустил руки и начал медленно сползать на пол. «Так! Так! В угол!» – кричал Толик, отталкивая Сергея подальше, хотя тот и не собирался больше нападать. Идрисов же, свято выполняя возложенные на него обязанности рефери, все-таки отеснил Сергея в самый угол класса. И оттуда было видно, как сидел, свернувшись, в другом углу Пашка, его опущенного лица не было видно, только из рта на пол толстой липкой нитью сползала слюна. Удар достиг заветной точки – солнечного сплетения, хотя Сергей такой цели и не выбирал, и был даже удивлен, насколько уязвимые есть места на человеческом теле, и как легко, в принципе, можно их поразить.

С тех пор добрых два года Пашка предпочитал не сталкиваться с Сергеем лицом к лицу, хотя в спорте пытался не уступать, и в секцию гимнастики записался сразу же после Сергея. Зато в последние месяцы, когда Грохов начисто выпал из спорта, он все чаще замечал странные взгляды Тарасова, тот все ближе подходил и даже пару раз вроде бы случайно толкнул Сергея плечом. Явно хотел показать, кто теперь хозяин положения, и почти не было сомнений – напрашивался на новое выяснение отношений. Впрочем – не очень решительно. И побаивался открытой схватки, и в то же время хотел точно знать, что он первый.

Поэтому совсем не удивило Грохова подсмотренное шушуканье Пашки с Витей. Хотя между ними никогда не было ничего общего и, как понимал Сергей, не могло быть уже потому, что Лужный в тысячу раз умнее. И он подумал, что Пашка предлагал Вите отомстить за оскорбление на уроке русской литературы. Может, это было и не так, но о чем еще могли секретничать столь разные люди? По крайней мере, Сергей решил, что нужно быть готовым к неожиданному нападению по схеме «два на одного». Вот только как быть готовым – морально? Пожалуй, такая готовность была для него ненамного легче, чем физическая.

«Лежачего не бьют? Да, правильно, и я не бью, святое правило. Так чего же хочет от меня Лужный? Чего хочет Пашка? – задавал себе вопросы. – Разве не добить лежачего? Когда я ослаб, заболел, упал – они... как акулы: только увидели, унюхали кровь – сразу надо наброситься и сожрать... А как же справедливость? Если болезнь кого-то свалила, придавила, то люди – друзья, близкие, знакомые, незнакомые, просто люди – должны помочь подняться. Так должно быть. А получается – они, наоборот, хотят добить. Зачем? Почему они такие?..»

Не находил он ответов на такие вопросы ни в книгах, ни в жизни. А все чаще смотрел на звезды; тогда опять становилось ясно, что и он, и другие, все без исключения люди, сильные и слабые, победители и поверженные в сравнении с безграничностью звездного мира – никто и ничто, ничтожества, букашки, жалкие твари, копошащиеся в собственном дерьме. И зачем тогда нужны крепкие бицепсы, зачем кого-то побеждать, с кем-то бороться?..

А звезды тем временем потихоньку теплели – незаметно, но мощно поворачивали Землю к весне. И вдруг она зазвучала – не только пением птиц и звоном ручьев, а главное, взрывами льда и мощным обвалом измученной в неживости воды (были подняты тяжелые щиты под плотиной) – праздником дикой, свободной стихии.

В один из таких шумных мартовских вечеров Сергей, полулежа одетым на кровати, дочитал толстенный роман «Отверженные». Закрыв книгу, несколько минут сидел без движения, прижавшись плечом и виском к дешевенькому, с мелким нежным ворсом, настенному ковру с оленями, уставившись каменным взглядом в сумрачное заоконье. Он словно был на похоронах главного героя романа, благородного, мужественного и сильного, очень сильного физически человека. Чувствовал себя скованным холодом ПРИСУТСТВУЮЩЕЙ смерти, сдавленным нависшей над головой ее всепоглощающей неизбежностью.

Потом вскочил, даже не надев куртку, выбежал во двор, быстро пошел к реке. За плотиной, подойдя к шипящим вздыбленным волнам, замер. И не двигался с места, даже когда периодически его осыпало холодной водной пылью. Казалось, он не стоит на ногах, а плывет, несется, с головой погружаясь в неистовый, вырвавшийся на свободу, одичавший мутный поток. Его что-то подхватило и несет, какая-то всеильная стихия мчит его туда, где он еще не был, к тем границам бытия, перед которыми одно безысходное отчаяние и за которыми – темное, вязкое «ничто». Границы были еще далеки, невидимы, но гибель таилась рядом, за каждым камнем, за любым поворотом. И ничего не могло быть впереди, кроме трагической неумолимости этого бешеного течения – безграничного, бесконечного во Вселенной, но с очень ограниченным расстоянием на Земле и неотвратимостью конца для всех людей. И в первую очередь – для лучших...

Стоя в полной потерянности над громящей стихией, Сергей понимал, что он плачет. И понимал, что нет и не может быть никаких слов, и никому ничего невозможно сказать, и кроме слез – никак нельзя выразить неохватный, неодолимый трагизм жизни. И ее несправедливость: «Ну почему лучшие – погибают? Несмотря на их недюжинную силу! Зачем тогда сила?..»

Но через несколько дней – вопреки неверию в будущее, кажущейся невозможности даже мига безоблачной жизни, – его настигла другая весна, привычная, светлая, слепящая. Видимо, его просто заслепило...

Шел из больницы, получив очередной укол бициллина – первый в новом лечебном сезоне. В картонной плоской коробке, оттопыривающей боковой карман стеганой куртки, нес еще пять ампул жидкости и пять бутылочек с порошком – все это только что выдали на весь весенний курс лечения.

В больницу ехал на автобусе; там километра два всего, но идти пешком – значит неоправданно терять силы, а врачи советовали не напрягаться. В автобусе уже тогда было жарко, а сейчас молодое апрельское солнце взобралось еще выше. Он решил пройтись: если напрямик – будет чуть больше километра, всего-то нужно спуститься вниз, пройти метров двести вдоль реки и спокойно, не спеша, с передышками подняться к дому.

Грунтовой, деревенского типа улицей, похожей на широкую траншею, прорытую среди огородов, вышел к прибрежным ивам, внезапно вспыхнувшим летним соломенным цветом. Здесь, возле реки, единовластно господствовала весна – сплошная весна и больше ничего. Било в глаза радостное, новорожденное светило. Не только в небе, не только в реке, но, казалось, со всех сторон горели десятки солнц, превратившись в светло-огненную плавку весны. Прижмурившись, сквозь светозарное марево он видел очертания моста, за которым были «шумки», а еще дальше, в робко зеленеющих глубинах нового, пробуждающегося мира скрывался центральный тепло-каменный пляж.

Снял куртку, положил ее на свежепробившуюся, тонко-ранимую травку, приблизился к берегу. Еще полностью не давая себе отчета, что делает, медленно подошел к самой воде, держа двумя руками коробку с лекарствами, которые не лечили, сдавил ее, приплюснул так, что хрустнули ампулки, и, широко размахнувшись, швырнул к середине течения. Медицинская коробка не потонула – долго, медленно, словно в мучениях, кружилась, намокая, набухая, и, унесенная за пределы зрительной досягаемости, скрылась с глаз.

– Плыви! – будто плюнул, резко проговорил Грохов. И, сжав зубы, добавил: – Я больше не буду колоться. Никогда... Будь что будет...

И почувствовал тонкий шипок боли – то ли сердечной, то ли душевной.

Единственный рациональный, полностью осознаваемый элемент этого поступка заключался в том, что он решил не выбрасывать аспирин, а отдать его матери – для консервации помидоров...

Он не знал, как жить, принимая лекарства, а теперь не знал, как жить без них. Потому что прежняя – насыщенная энергией, здоровая, полнокровная жизнь была оборвана навсегда. Он не понимал, какая сила заставила его покончить с лечением, напротив, было иное понимание: ты можешь отказываться от лекарств, можешь падать со скалы, тонуть, биться головой о стену, но – диагноз остается, приговор никто не отменял.

Вместе с тем, когда вынимал из кармана упаковку с ампулами и бутылочками, когда решительно бросал ее прочь, когда наблюдал, как она долго не тонет, – в глубине души чувствовал какую-то смертельно-азартную игру. Он как бы шел на эксперимент – с природой, с судьбой – и готов был ждать: утонет или нет? Или, может, какая-то неизвестная, таинственная сила подберет, подтолкнет, вынесет на берег?..

8

– Назад! Ложись!!! – полетел по парку душераздирающий крик-приказ, от которого, казалось, чуть не упали деревья и съежились кусты.

Грохов бежал от пуль. После этого крика он не повернул назад, не лег, а запетлял, словно увертываясь от пулеметных очередей. Пока никто не стрелял. Но приказ повторился:

– Ложи-ись!..

Голос сорвался в хрип, чувствовалось, что кричавший давно не тренировал голосовые связки. Сергей, виляя, добежал до конца оврага, стремительно, с помощью рук, выбрался из низины и скрылся за бугром...

Это было на учебных стрельбах, практических занятиях по военному делу, которое как предмет изучали десятиклассники. Иван Федорович, преподаватель, седеющий капитан в отставке, с подергивающейся нижней челюстью (поговаривали, что он был комиссован из-за контузии, полученной в одной из «горячих точек»), облюбовал в глубине парка похожий на большой ров овраг, поставил там две фанерные мишени и уже несколько лет водил старшеклассников на учения. Стреляли из малокалиберных винтовок. На огневой рубеж выходили по двое, ложились и по команде учителя-командира пытались поразить мишени. Остальные стояли сзади.

Уже отстрелялись несколько человек. И тут Грохову, стоявшему в толпе поодаль, вдруг представилась война. Увидел и себя, бегущим под огнем к вражеской амбразуре. Было не умопомрачение, а вполне осознаваемая фантазия, потому что когда он подумал, как вдруг сейчас начнет играть эту роль, ему стало смешно. Он наклонил голову и слегка похихикал сам с собою, представляя, как выбегает, ни с того ни с сего, на простреливаемое пространство и, точно заяц, начинает петлять, метаться под прицелом двух винтовок. И продолжал рисовать в воображении картину сражения: свистят пули, все лежат в окопах, никто не решается высунуть голову. И все же кому-то нужно пойти вперед...

Скорее не сама игра, а желание передать другим ее комичность, привело его в движение. Вместе с тем чувствовал и какой-то затаенный риск – ведь пули от мелкашки хоть и мелкие, а настоящие, свинцовые – и даже допускал, что один из стреляющих, или оба, вдруг тоже проникнутся игрой в войну и станут стрелять по движущейся мишени, по-настоящему. Тем не менее, эта мысль не только не остановила его, а даже подхлестнула – словно кто-то толкнул в спину, причем не рукой, а дулом винтовки: «Давай! Вперед!..»

И Сергей, будто вырываясь из окружения врагов, очень натурально растолкал «однопольчан», так что один даже упал, и ринулся за огневую черту. Иван Федорович мгновенно осознал опасность, – патроны в винтовках еще были в патронниках. «Куда-а?...» – надрывно рявкнул хриплым басом и с выпученными от ужаса глазами бросился за учеником. Тот поддал скорости, и командир в отчаянии заорал...

Сергею самому непонятно было, откуда в последнее время появилась такая мальчишеская бравада. Да, вроде бы, потихоньку оживал, отходил, оттаивал. Бегал по утрам, увеличивая по минутам время и темп бега, и уже не боялся делать резкие движения. Возвращение к жизни, по логике, наоборот, должно было настроить на серьезное к ней отношение. Действительно, в девятом классе подналег на учебу, ни одной тройки, кроме химии, не было. И не из-под палки, а от внутренней потребности и глубокого убеждения, что ученье, как гласит пословица, выведет на свет.

И так же изнутри, но уже из непросматриваемых глубин души, что-то толкало его на непонятные еще несколько месяцев назад шалости, а то и кураж. Сначала такое сочетание – хорошо учиться и в то же время систематически безобразничать – удивляло не только одноклассников, а и его самого. Постепенно он начал не столько понимать, сколько просто принимать себя такого – противоречивого, непостижимого.

Сергей заметил, что его проделки в школе напрямую зависят от личности конкретного преподавателя. И самое интересное – его все время подмывало проявить, «выдать» учителю заслуживаемое.

Так было с «немкой»...

– Грохов, выйди из класса! – после второго замечания сухо потребовала учительница немецкого языка Марина Ивановна.

Сергей, опустив голову на парту, заливался смехом. Они с Толиком Идрисовым в это время строили версии. «Версия» начиналась словами: «Представь себе, вдруг...» Далее выдумывалась невероятная, смешная история. «Вдруг я подхожу к «Маркизе» и говорю: Марина Ивановна, вы такая юная и прекрасная...» – прошептал Сергей другу и оба, хохоча, снова прилипли к парте. Марина Ивановна, которой уже было за шестьдесят, с незапамятных времен носила в школе кличку «Маркиза» – судя по всему, за внешний вид: она была безобразной, с выпяченной верхней губой, из-под которой выпирал большой, воскового цвета, зуб, зато всегда держала голову высоко-прямо, и, даже сидя за учительским столом, смотрела на всех сверху вниз.

– Выйди! – повторила учительница. – Завтра придешь с отцом. Без отца на мои уроки не приходи.

Сергей, еще не согнав с лица гримасу смеха, без возражений пошел к дверям. Уже выходя, что-то вспомнил. Подошел близко к учительнице и громко заявил:

– У меня отец – во-о!

При этом вытянул руку с поднятым вверх большим пальцем, который поднес прямо к глазам Марины Ивановны. Она инстинктивно отшатнулась, а Грохов, как бы все теперь сказав, пошел к выходу.

– Что ты мне тыкаешь? – возмущенно вскрикнула учительница вдогонку.

Сергей круто развернулся, опять подошел к ней.

– Я не тыкаю. Я просто говорю, что у меня отец – во-о! – И снова повторил такой же жест, чуть ли не коснувшись большим пальцем учительского носа.

– Вон! – закричала Марина Ивановна, и Сергей, под прижатые ладонями смешки, улыбаясь, покинул класс.

Знал, за что не уважал «немку». Рассказывали, что она во время войны здесь же, в Дыбове, работала у немцев переводчицей. Выходит, работала на врагов...

А преподавателя автодела Владимира Спиридоновича уважать мог только сам Владимир Спиридонович, в этом Грохов был глубоко уверен. «Баран» – такую кличку учитель получил, не только за жестко вьющиеся волосы и постоянно работающий (на уроках, конечно, вхолостую) причмокивающий рот, а и за свой интеллектуальный уровень. Большинству в классе автомобильное дело нравилось, в том числе и Грохову. Но он его возненавидел после того, как учитель однажды пошутил (конечно, «по-бараньи») оставив его после уроков зубрить не выученное задание. Таких было человек десять. Сидели уже больше часа без перемены, уже несколько раз преподаватель куда-то выходил; наконец, пережевывая какую-то пищу, не только зубами, а всем широко-мясистым лицом, уселся что-то писать.

– Грохов! – оторвал глаза от стола, спустя несколько минут. – Хочешь есть?

– Да!.. – обрадовался Сергей, полагая, что сейчас его освободят.

– Ешь книгу, – сказал учитель и расплылся жирной улыбкой.

Грохов этого не забыл, и методически, через раз пропускал уроки автодела. Однажды, когда «Баран» в числе других послал его на работу в мастерскую, ушел в парк играть на бильярде и вернулся только через полтора часа, зашел в класс, как и положено, под конец пары.

– Где ты был? – строго спросил учитель.

– В мастерской, – делая удивленные глаза, уверенно ответил Сергей.

– Что-то я тебя там не видел.

– И я вас там не видел, – нагло ответил Сергей, и все в классе засмеялись.

Владимир Спиридонович побагровел, громко чмокнул губами и двинулся на Грохова (учитель был, по меньшей мере, в два раза шире своего ученика) с явным намерением схватить его и вышвырнуть из класса, так уже было когда-то с одним одноклассником. Сергей

быстро подошел к стеллажу, на котором лежали детали двигателя, схватил какую-то металлическую трубу и повернулся лицом к преподавателю. Тот остановился, выпучив глаза. Подумав несколько секунд, молча пошел к двери, открыл ее и показал непокорному ученику на коридор. Сергей, медленно выходя, внимательно следил за движениями учителя, не выпуская трубу. И когда уже оказался в дверях, протянул ему свое орудие защиты, промолвив:

– Это вам. На память.

Тот с тупым удивлением смотрел в глаза Грохову, даже чмокать перестал, и Сергей бросил железку возле порога. Не убежал, а спокойно, с достоинством пошел по коридору, потому что был уверен: «Баран» больше никогда и не подумает применять к нему силу...

А самым удивительным для соучеников и для самого Сергея было его сближение с Витей Лужным. Сначала и не замечал, насколько похожим стало его поведение на поведение Вити, хотя превзошел того сразу: его проделки были смелее и оригинальнее. Впрочем, Сергей вовсе не пытался подражать Вите, а просто такое поведение было, оказывается, естественным.

Лужный, выяснилось, болел той же болезнью, был в плену у того же диагноза. И так же глубоко этот диагноз потряс все устои его жизни, резко изменил мысли, поведение и отношение к людям – сверстникам, учителям, даже родителям. «Оскорбления? Проглотят! – объяснил основу своих поступков. – Мне хуже, чем им...» И Грохов, как никто (а никому больше Лужный ничего и не объяснял), понял такую позицию.

Хотя, в отличие от Вити, безобразничал все-таки не со зла на людей. Думал об этом и понял: злился на свою болезнь, а дурачества – это компенсация за то, что она отобрала. Ведь не люди отобрали, а болезнь...

– А почему ты мне раньше не рассказал о беге трусцой? – спросил Сергей, когда они поделились друг с другом сокровенным, и Витя сообщил, что давно пользуется этим единственно эффективным лекарством от их болезни.

– Знаешь, думал, что ты – как все, такой же тупой... извини, недалекий, – честно признался новый друг.

До бега, как универсального средства против сердечно-сосудистых заболеваний, которым пользовались миллионы людей в мире, Грохов добирался долго.

После того, как выбросил уколы, решил ни при каких обстоятельствах не обращать внимания на свое сердце. Конечно, со спортом покончено, да и не тянуло к нему теперь так сильно. Кроме того, Толик Идрисов (хотя и не друг, а просто близкий и верный товарищ) как-то заметил, что Сергей в прямом смысле перерос гимнастику. Все гимнасты, якобы, маленькие ростом, а бывший «лучший гимнаст школы» уже слишком вытянулся, поэтому успех ему и не светил. Сергей был благодарен Толику за утешение, хотя не согласился с его утверждением насчет «низкорослых гимнастов». Да и дело теперь было не в гимнастике, она, в любом случае, осталась в прошлом. А вот как жить в будущем? «Великого спортивного будущего не получилось, но в повседневной жизни – ты нормальный, полноценный человек», – внушал себе. Решил избегать драк, не меряться силами больше ни с кем, не ругаться, не нарываться, не заедаться. Жить без этого – разве нельзя?

Однако случай снова поверг его в беспросветную темень, сначала – в буквальном смысле слова. И надо же ему было остановиться возле пацанов-дошкольников, которые прыгали, кувыркались на куче свежих опилок, оставшихся возле соседского двора после пилки дров. На этом пахнущем сосной акробатическом ковре малышня буквально на головах ходила.

– А сальто можешь сделать? – спросил Сергей соседского парнишку.

– Не-а, – покачал головой малец.

– Давай, покажу.

И Грохов (еще подумал: ну сколько этот пацан весит, килограммов пятнадцать максимум?) – взял малыша за бока, стал, переворачивая, поднимать его перед собой. Уже посадил мальчишку на плечо, оставалось лишь опустить его вниз. Этого Сергей сделать уже не смог. Вдруг почувствовал, как голова наливаясь невыносимой тяжестью, что-то изнутри давит на лоб, на глаза... И все исчезло.

Очнулся лежащим на опилках. Не сразу увидел стоящих вокруг него детей, медленно, с тревожным напряжением начал вспоминать, где он, что с ним. Все ребята были живы, здоровы. И он вроде бы жив. Только жизнь открывалась так тяжело...

Испытывая небывалую слабость в теле, поднялся, посмотрел на прилипшие к брюкам опилки, попытался отряхнуть их, тут же опустил руки – это требовало многих усилий, тяжело побрел вниз по улице, мимо своего дома, к реке. Там опустился на камень; сердце тяжелыми волнами било в голову. Попробовал осознать, что же это такое было.

Смерть?.. «Вот она какая, – сжимая все, какие только прорезались к этому времени морщины на лбу, думал Грохов. – Она меня брала...» Припоминал: сначала будто сотни маленьких колючих пальцев сжимают голову – лоб, потом затылок, все туже, крепче. Впрочем, до сильной боли не доходит, – сознание, а вместе с ним и напор боли, выдавливается из головы и улетает. Дальше – ничего нет... Да, это была настоящая смерть, натуральная, хоть и... временная. Но как же мучительно возвращаться в жизнь! Как страшно, как не хочется... И единственный вопрос просачивался сквозь этот боленасыщенный туман возврата: «Зачем?.. Ведь там было хорошо, где ничего не было...»

Он снова остался наедине со своими вопросами («Что же это за жизнь такая? За что?..»), и снова искал ответы в уединении, вдали от тех мест, где решались насущные проблемы юности. Как назло, встретил как-то Селезня – одноклассника Володю Селезнева, холеного парня, сына начальницы райгастрономторга. Тот шел на пляж – поправившийся, самодовольный, с закрученной на лбу вихрастой челкой, в шортах, из под которых выпирали округлившиеся, поволосевшие ляжки. «Иду к девочкам», – сообщил тот и сразу же, без каких-либо вступлений, рассказал, как с девочками на днях ездили на лодке в Сосновку. Якобы, с Сашкой Сосниным (Сергей отметил: сын заведующего мелкооптовой базой из параллельного класса) взяли с собой Свету Войтенко и ее какую-то подругу, купались там голые, ночевали вчетвером в одной палатке...

– Я все понял, ты молодец. Будь здоров, – прервал рассказ Грохов.

«Козел... Сволочь... Я и раньше хотел тебе врезать...», – мысленно ругал он одноклассника. Его раздражала злость – и на Селезню, и на Свету, и, в конце концов, на себя. Нет, прежде всего – на себя... Злость и обида. На судьбу?.. Света Войтенко, самая красивая девушка среди одноклассниц, считай, во всей школе, – кому-то достанется?.. Будет принадлежать?.. Уже принадлежит?.. Таким, как Селезень?..

Света давно была к Сергею равнодушна. С тех пор, как еще в седьмом классе заступился за нее (к ней приставал один наглый старшекласник, и Грохов не побоялся, предупредил по-взрослому, что будет иметь дело с ним...). Потом, уже несколько месяцев прошло, случайно подслушал, как она с гордостью говорила девчонкам: «Сережа Грохов меня защищает!» Тогда это звучало по-детски, но и дальше Света проявляла к нему намного больший интерес, чем к другим небезразличным к ней ребятам, а в последнее время все чаще ловил ее уже совсем не детские, слишком продолжительные взгляды, – и это несмотря на его немочь. А он...

А что он? Раньше как-то было не до девчонок. А теперь... С его-то сердцем – куда?.. Она здоровая и красивая... Дальше предпочитал не развивать возможные сценарии ее жизни. Потому что из такой логики следовало, что она и впрямь должна принадлежать другому, здоровому и красивому, – он этого себе не договаривал, не домисливал, а как бы без слов согласился. И вот теперь, после Володькиного рассказа, все нутро его вздыбилось.

«Сволочь... Красавчик!..» Сергей вспомнил, как однажды учительница биологии, вообще-то женщина ехидная, не случайно имела кличку «Змея», всему классу показала, кто такой Селезнев.

– Ты свекольным соком попробуй! – громко проговорила во время урока.

И считая необходимым объяснить всему любопытному классу, в чем дело, сообщила:

– Сидит, слюнит пальцы, и завитушки себе делает на бакенбардах. А я говорю – свекольным соком надо, так казаки усы подкручивали.

Селезнев сидел, закрыв лицо кулаками, только уши горели свекольным цветом. «Точно: змея», – прежде всего отметил тогда Грохов. И подобным же образом подумал про Володьку: «Селезнев. Селезень! Как же иногда фамилия соответствует сущности человека. Сидит – перышки чистит, красавец»... Но теперь одного презрительно-насмешливого отношения к Селезню было мало.

«Ах, подлецы, – все больше раздражался Грохов. – Вы думаете, если вы богаты?.. У папы-мамы много денег, так вам все можно?.. Да вы против меня шавки...» Однако тут же подумал, что даже такое плавание в Сосновку – элементарное, простейшее – ему было бы нелегко организовать, ведь у него нет лодки. Можно было бы взять у соседа, но разве это лодка? Она для рыбалки только и годится. А хорошую, типа шлюпки, можно взять напрокат, Селезень, несомненно, так и сделал. Да только для этого нужны деньги, а у него и денег нет... «Подлецы... Бить вас надо... Экспроприировать...»

И несколько часов думал, как бы посвятить жизнь благородному разбойничеству – стать современным Робинот Гудом! А что? Он разве глупее их, таких как Селезнев или Соснин? Нет, умнее. В этой войне ум нужен. Вот когда сердце вылечит... «Стоп! А когда?.. И как?.. Как я его вылечу?..» Тут вспомнил, что и Света-то не из простых, не рабоче-крестьянских кровей. Ее отец тоже какая-то шишка, в райисполкоме работает...

Робин Гуд исчез. А вместо желания дерзкой справедливости, которую нужно было вернуть на земле, снова перед ним выпер, затмив все правды и неправды земные, страшный, непробиваемый мыслью вопрос: «Почему мне нельзя жить в полную силу? Почему запрещено? Кем?..»

Так ненадолго жизнь вернула его в реальность и опять выбросила на свалку юности, на необитаемый остров сознания, именуемый одиночеством. И на этом еще совсем не обследованном, не обжитом молодым умом острове человеческого духа главный вопрос его жизни, как это уже было однажды, снова изменился. Вопрос: «Почему мне нельзя нормально жить?» перерос в вопрос: «Зачем жить?»

Лишь спустя многие годы он поймет, что в эти проклятые, скрытно-отчаянные дни обрел себе подругу на всю жизнь. Этой подругой стала ночь. Часто глубоким вечером выходил из дому как бы по нужде (он думал, что так считают родители, поскольку все «удобства» были во дворе) и шел в «шумки», мог час, а то и два стоять на мосту. Однажды отказался от моста, встретив на нем в два часа ночи Блина – Мишку Блинова из параллельного класса – с девушкой. Почувствовав тогда юношеский стыд одиночества, спустился с моста к самой воде. И когда выходил в следующие ночи, то бродил уже возле самого берега, а бывало – долго сидел на камне и смотрел, как прыгают, словно сверкающая чешуей рыба, звезды в водопадах...

Он еще не знал, что эта вынужденная, случайная дружба с ночью перерастет когда-то в большую и вечную любовь. Уже тогда чувствовал, что не нужно выходить в ночь с фонариком (когда-то это станет жизненно важным правилом), если хочешь считать ее своей. Не резать надо ночь, а наоборот, слиться с нею, стать с нею одним целым, как сливается воедино и становится одним целым всякая любовь. Не надо бояться ночи, главное – сделать первый шаг в ее объятия. Если ты делаешь этот шаг к ней с любовью, она ответит тем же, ты будешь счастлив с ней... Счастья пока не испытывал, но все же ночь была лучше дня, потому что проще в ней было спрятаться.

Теперь было лето, и он прятался от людей уже не в парке, как зимой, а на реке, за плотиной, в густых острых зарослях камыша. Загорал (хотя врачи и это запретили), отдавая солнцу не нужное теперь никому и ничему другому свое молодое тело, – на крохотных каменных островках, где разбивалась река на многие, почти ручьевые течения, избегая шумных мест, а тем более – центрального пляжа. Там бывала Света, там загорал Селезень и подобные ему, там был простор – каменный, песчаный, водный, воздушный, солнечный – для многих людей, там большим шумным потоком текла жизнь, и там никто не спрашивал, зачем жить. А здесь, на уродливых, искривленных, пахнущих илом и дохлой рыбой маленьких камешках, едва вмещающих одного человека, эта жизнь кончалась. Она упиралась в вопрос, вставший поперек всех течений юности, твердокаменной, высокой стеной, перекрывающей даже небо, к которому он все чаще обращался...

9

Спасение явилось не с неба, а из этих же островных зарослей. Однажды под вечер на одном из таких укромных, чисто журчащих речных потоков увидел Григория Алексеевича – учителя русского языка и литературы из соседней школы, фронтовика, которому было уже под семьдесят, но который всегда выглядел свежо и собранно. Его облик полностью соответствовал его манере преподавания, строгой, даже суровой, – ястребиный нос, тяжелый, давящий взгляд жестких глаз цвета ржавого металла. Судя по рассказам знакомых ровесников, не было ни одного ученика в школе, который не боялся бы этого взгляда.

Однако сейчас, когда Сергей вынырнул из кустов и неожиданно встретился с учителем, увидел совсем другое лицо – приветливое, доброжелательное, и даже подумал: врут все о нем.

Очень худой, в черных «семейных» трусах он обтирался возле воды, часто обмакивая вафельное полотенце и слегка отжимая его. Сергей знал, что купался учитель почти круглый год, видел его не раз в этих местах, вот так же обтирающимся глубокой осенью (в любую погоду, даже в зимнюю стужу он всегда открывал форточку в классе, объясняя: «Когда жарко – я нервничаю, а вы ведь не заинтересованы в том, чтобы я нервничал»).

– Как дышится! – приветственно произнес Григорий Алексеевич.

Сергей не понял, то ли это был вопрос, то ли просто возглас. Почему-то ответил:

– Не очень хорошо.

– Это почему же? – учитель остро, впрочем, не больно, кольнул глазами.

Сергей уже решил не продолжать разговор – скрыться, как и появился, но учитель добавил:

– Ну, рассказывайте, молодой человек, почему Вам не очень хорошо дышится.

– Сердце...

– А что с сердцем?

– Ревмокардит... Так говорят...

Сам не знал, почему вдруг этому человеку, случайному собеседнику так бессмысленно прямо все выложил (может, потому что услышал обращение «Вы», – свои учителя до этого не снисходили), и теперь уж точно решил немедленно уйти.

Уже за спиной, уже нагибаясь, чтобы укрыться в густом зеленом плетиве низкорослого кустарника, услышал нечто неслыханное:

– А это не болезнь, вы знаете?

... Через полчаса Сергей поверил – нет, пока еще не в слова учителя, – а в то, что вживается в новый, совсем иного порядка вопрос: выходит, тот диагноз, который вышиб его не только из спорта, а из жизни, – не болезнь? От этого можно избавиться?..

Еще через полчаса нес от учителя две брошюры, в которых рассказывалось о беге трусцой...

Оставшаяся половина лета ушла на привыкание к новому лекарству – на осторожное прощупывание сердца бегом. Лишь к осени позволил себе действительно бегать, а не «трусить».

В первый же день нового, последнего учебного года прямо спросил Свету (она охотно откликнулась на его просьбу отойти в сторонку): была ли такая поездка в Сосновку? А голое купание с ребятами? А ночевка с ними в одной палатке?

– Дурак!.. – покраснела она в ответ, но не опустила взгляд. – Кто тебе такое рассказал? Кому ты поверил?..

Он молчал. Потому что сам не знал сейчас, кому верить. Света, как понял, готова была и дальше что-то доказывать, что-то опровергать, если бы он что-то спрашивал, требовал этого. Девушка, опустив голову, пошла от него. Метров через пять повернулась и сквозь слезы повторила:

– Дурак...

«Ничего себе, – недоумевал Сергей. – Неужели Селезень все это выдумал? Ну, может, приврал немного, пусть даже наполовину. Не бывает же дыма без огня...» С другой стороны, нельзя и не поверить Свете. Это второе «дурак» прозвучало уже совсем не так, как первое, там уже было не просто опровержение, не просто упрек в том, что поверил такому, а нечто большее...

Ему вдруг захотелось – сейчас, немедленно – догнать ее, объясниться, извиниться... Однако, надо было сначала разобраться, где же правда.

Представил, как схватит за грудки Селезня и вытряхнет из него эту правду. Нет, лучше – залом руки (Вадим Сергеевич показывал, в порядке общефизической подготовки), а это больно. И если соврет – надо серьезно предупредить! – рука будет сломана...

Истина выяснилась проще и гуманнее. Сергей обратился сначала к Саше Соснину – участнику, по рассказу Селезня, той оргии:

– А кто была вторая девчонка в вашей поездке в Сосновку? Помнишь: Света Войтенко, Селезень?.. – хитро спросил, внешне стараясь быть бесхитростным.

– Какой поездке? – удивился Соснин.

– Ну, недавно... летом, вы плавали на лодке... вчетвером... в Сосновку, – конкретизировал Сергей. – С ночевкой... Ночевали в палатке. Что, не помнишь?

– Нет, не помню. Даже первый раз об этом слышу...

На удивление Сергея, Саша, хотя и сын «торгашей», оказался совсем неплохим, искренним парнем. Но Селезень!.. Совершенно непонятно, просто в голове не укладывалось – зачем врал? Ну, зачем? Кто-то его за язык тянул? Неужели от зависти к нему, Грохову? Ведь именно ему, без всяких вопросов, без предисловий была рассказана эта грубая сказка! И именно Света стала ее героиней. Облил ее грязью – зачем? Сволочь. Подонок! Выдал желаемое за действительное? А может, это просто ревность так у него проявляется?..

«Зачем я ее обидел, зачем такое спрашивал?.. – винил себя Сергей. – Точно, дурак. Она ведь ясно сказала: «КОМУ ты поверил?»... А пусть не дает повода. А... какой повод? Оказывается, дым без огня бывает!.. Стоп, а если я кое-что проверю. Предложу ей – в Сосновку, вдвоем, на ночевку...»

Уже через несколько минут понял, что передумал, не пригласит, хотя не понял, почему. Самому себе говорил, что сейчас не до этого, что надо разобраться с сердцем, да и – достаточно ли ее любит?.. А о том, что просто испугался («А вдруг согласится?») как мальчишка, а не мужчина, оказаться наедине в одной палатке с девушкой, – об этом не хотелось думать...

Впервые в жизни Грохов увидел такой женский взгляд – после того, как попросил извинения у Светы. Не хотел сравнивать его с собачьим взглядом, но только Джек, его любимый пес, цепной, охранявший двор, мог смотреть так преданно, с такой безграничной готовностью выполнить любое желание хозяина, пойти за ним куда угодно.

Это казалось фантастикой: таким взглядом на него смотрела одна из красивейших девушек школы, города. Света была обладательницей какой-то нездешней, занесенной в Дыбов случайным, очень редким ветром красоты, – то ли с неведомых заокеанских широт, то ли из глубин времени, от самых изначальных атомов и молекул живой красоты, сложившихся некогда в образ Нефертити. Она была смуглой, и при том весь ее облик был светел. Ее густые, волнистые, черные волосы подчеркивали яркость губ, небольших, но по края наполненных таинственным дурманом, который скрывал (а мог открыть!) совсем другую, неизвестную, сказочную жизнь; когда она говорила или улыбалась, ее губы превращались в нежно трепещущие, легчайшие крылышки какой-то невиданной в этом мире, ослепительно-притягательной бабочки, гипнотически парящей над землей и вдруг приблизившейся к его лицу так, что, казалось, он чувствует хмельное колыхание воздуха от этих крылышек...

Света сообщила, что Селезнев действительно предлагал ей «прокатиться в Сосновку», – она, конечно же, решительно и резко отказалась. И так, все выяснилось – она чиста, честна, и это было прекрасно. И вся эта чушь как-то отхлынула начисто. Потому что Сергея неожиданно заинтересовало другое – сама она как физическое создание. Он будто впервые увидел ее... Нет, не ее – он всегда знал, что она красива. А что-то открылось в ней – такое теплое, безумно близкое, такое обжигающе женское... Он сник, все слова выпали из головы, забыл вдруг, о чем еще минуту назад шел между ними разговор...

И может (это Сергей понял следующим летом, когда влюбился в Наташу), если бы в таком состоянии расстался со Светой, то она и стала бы его первой любовью, которая, как известно, бывает лишь один раз.

Случилось иначе. В ту минуту, когда он, парализованный ее взглядом, ничего не мог сказать, предложить, предложила она:

– Давай сегодня пойдем в кино?

Тогда его ум лихорадочно заработал. И выдал:

– К сожалению, не могу... У меня сегодня... тренировка...

Кино, он понимал, – это не обязательно кино, это – свидание!

Больше не нашел никаких объяснений, сказал только позорное «извини» и ушел. Уже через пять минут нашлись слова, объясняющие отказ от свидания, он рванул к ней, но – глупо теперь было что-то объяснять. Поздно...

А повод, который мог сойти за объяснение и который теперь уже был правдой, заключался в том, что он якобы запланировал сегодня наблюдение за звездным небом. И вправду давно собирался переночевать под звездами, изучая их движение. Лето закончилось, а это намерение не было реализовано и нужно было использовать последнюю возможность, которую давала еще погода.

В его дворе, за домом, была гора, с которой открывался возможный в этой домашней точке мира максимум небесного свода. Там, с появлением первой звезды, улегся на раскладушку.

Но еще долго не мог видеть звезд, потому что видел лицо Светы. И постепенно, с болью, осознавал, почему отказался от свидания, почему так жестоко, мгновенно погасил блеск в глазах красивой, милой, самой лучшей в обозримом пространстве девушки. Испугался ее, именно как девушки? Нет... Это было что-то другое – тяжелое, давящее, слезное, и влекущее, мучительно-сладкое чувство сродни мести, вызванной злостью, обидой... На кого? На жизнь, на мир? Но при чем тут Света? Этот мир, которому, оказывается, мстил, потянулся к нему в

образе Светы – таком добром, нежном и хрупком. И было стыдно, отвратительно признавать, что он нанес удар этому миру именно потому, что тот предстал таким беззащитным...

Но ведь и мир уже однажды предал его. Он ведь беззаветно полюбил другую «женщину» – гимнастику. Ради нее в седьмом классе сознательно отказался от еще одной «красивой женщины» – музыки (бросил музыкальную школу, потому что, как объяснил учитель, нельзя на брусках и перекладине уродовать пальцы, предназначенные «самой природой» для скрипки). Ведь как безоговорочно семиклассник Сергей Грохов тогда поверил миру, который тоже явился в лице «красавицы», как самозабвенно отдался ей, красоте мира, – и как этот мир жестоко его отверг... Хотя, опять же: при чем тут Света?... Может, все это – лишь попытка оправдания? Может, действительно – мальчишка, сопляк – испугался?..

Он вставал, ложился, снова поднимался, ходил по горе и с натугой глотал слюну – казалось, это были сгустки грусти, перемешанные с виной, которые теснились под горлом и то и дело готовы были пролиться слезами.

И только глубокой ночью, когда уже ковш Большой Медведицы перевернулся, будто высыпая на эту гору горсть сверкающей, безжалостно непостижимой бесконечности, недоступной ни глазам, ни, тем более, мозгам человеческим, Сергей увидел, наконец, небо. Вжался спиной в раскладушку, почти касающуюся земли, и сник, теперь уже перед неколебимым сияньем вечности, а не земным, обманчивым миром.

Наконец-то, еще глубже в ночи, голова обрела покой. Было прохладно, и он, хоть и одетый, еще укрылся по плечи одеялом. Душа подрагивала перед непрочитанной, таинственно приоткрытой книгой мироздания, но мысли текли спокойно и величественно. «Я буду ее читать, эту книгу, – думал Грохов. – Пусть они, спортсмены и хиляки, умники и дурачки живут своими проблемами, мелкими победами, выяснением отношений, кто сильнее, кто красивее... А у меня есть ЭТА книга!..» Вся земная жизнь, ее суета казалась сейчас такой же далекой и недостойной серьезного реагирования, как тихие, изредка слышные шорохи на помидорной грядке (наверное, молоденькие ежики резвились).

Все теперь было на своих местах. Вселенная расширялась, Большая Медведица вращалась вокруг Полярной звезды, Земля отдыхала, душа и мысли были на высоте. Мешало единственное: внизу, за сараем, несколько раз начинал выть Джек. От этого становилось почему-то страшновато, муторно. Сергей вскакивал, кидал в сторону собаки комок земли и шепотом кричал: «Джек, фу!» Тогда вой переходил в робкое повизгивание: просящий свободы Джек гремел цепью, рвался к хозяину. Но потом, видимо, забывал про хозяина, а вспоминал о чем-то другом, не подвластном ни собачьему, ни человеческому уму, – и снова тишину пронизывал тихий, пугающе непонятный, режущий по живому этот звездный покой, вой...

Глава 3

10

– Нина... Такая красивая... В белом платочке стояла...

Грохов силой разлепил глаза. Хотя давно уже не спал, просто на какие-то минуты отплывал от реальности, но чтобы раскрыться жизни, сначала крепко сжал, всей тяжестью лба сплющил веки, затем, резко распахнув их, впустил в себя комнатный полумрак. Рядом с ним сидел Гриша, смотрел вверх него, сквозь деревянную, исцарапанную спинку казенной кровати, и дальше, сквозь стену...

– Какая Нина?.. Ты что, плачешь?..

У Гриши всегда под воздействием алкоголя слегка влажнели глаза. Но сейчас Сергею показалось, он видел натуральные слезы.

– Что ж ты плачешь, Гриша? Какая Нина?.. Который час?.. – возвращаясь в сумеречную действительность, спрашивал Грохов.

И сам постепенно сообразил, что на дворе уже (или еще только?) ранний сентябрьский вечер.

– Э-э! – мечтательно отозвался Гриша. – Там много хороших девушек...

– Да где – там?.. – приподнимаясь, Сергей почувствовал тяжесть в груди, в горле, спазмы в висках. – Их везде много. Давай выпьем... Сбегаешь?

– Не надо... – все так же загадочно-умиротворенно произнес Гриша.

– Что не надо? – Сергей повысил голос, выражая справедливое непонимание и нетерпение. – Ладно, сам пойду.

– Да нет, не надо никуда бежать. Все уже есть... – сообщил Гриша таким тоном, словно только что были решены все проблемы мира, и от этого было грустно.

– Ну так что ж ты мне душу мотаешь, что ж ты мозг мой многострадальный выворачиваешь? – повеселел Грохов. – Выставляй!

Когда выпили по стакану крепленного красного вина, закусив яблоками из Гришиного, точнее, его родителей, деревенского сада, – все стало проясняться.

Сегодня было воскресенье, Сергей его проспал. Засыпалось хорошо, потому что утром, то есть часов в двенадцать, они опохмелились – всей дружной комнатой номер шесть, которую Сергей называл «палатой № 6» (он даже табличку такую когда-то приклеил с наружной стороны двери, – комендантша сняла, ей, видимо, кто-то рассказал, что значит чеховская палата № 6). После такого ободряющего завтрака все разошлись. Гриша, помнится, звал его на какое-то собрание. Васильевич, «отец» – пятидесятилетний мужик – пошел к своей женщине на квартиру. Четвертый жилец комнаты, Жора, тоже умчался к своей девушке в женское общежитие.

И Грохов, как и хотел, остался один не только на своем койко-месте, а в целой комнате общежития Невинногорского железобетонного завода №2, на котором уже почти полтора года работал формовщиком-бетонщиком. Все ребята из комнаты выполняли ту же работу, в совершенстве овладевая большой лопатой и большим ломом, – один Васильевич был электриком высшего разряда, то есть витал в более высоких сферах, в основном лазал по мостовым кранам. Сергей давно собирался спокойно полежать, подумать, подвести итоги жизни и – не получилось, уснул.

Правда, перед сном таки думал. Не над всей жизнью, а над ее частью – большей частью, которую составляла теперь Оксана. Размышлял, правильно ли сделал, что не пошел вместе с Жорой в женское общежитие, к ней. Не пошел потому, что снова, как уже бывало много раз,

решил, что он не в том состоянии. Тяжело общаться с ней непохмеленным – о чем говорить и, главное, как? Ведь язык – будто оторванный и плохо пришитый. Однако идти, опохмелившись, – тоже не хотелось. К любой другой – пожалуйста, не было бы сомнений, а к ней... Она уже достаточно и видела, и слышала его нетрезвым. Нет, не упрекала ни словами, ни даже взглядом, а вот именно ее взгляд, всегда в высшей степени трезвый и ясный, как раз и был для него упреком. Засыпая днем и чувствуя, как приятно теплеют и расслабляются внутренности в животе после двух стаканов «Портвейна», а от живота и все члены, думал, уже не в первый раз, что скоро возьмется за себя, перестанет пить, изменит свою жизнь и тогда...

– Ну, так что ты там рассказывал о какой-то Нине? Ты еще говорил, я не забыл, я таких вещей не забываю, что там много хороших девушек. Где это там? Давай, признавайся, – произнес Сергей облегченно, после опустошенного стакана, разминая сигарету.

Гриша – белобрысый, розоволицый, крупноносый парень, мягкий характером, не умеющий ни на кого злиться, – тоже взял сигарету, задумался, уставился розовеющими глазами в одну точку на продырявленном (не так давно в комнате была драка) фанерном шкафу.

– Вот... Вот... – заговорил наконец, подняв руку и красноречиво демонстрируя сигарету между двумя пальцами. – Это дьявол шепчет: выпей! А потом, когда ты выпил, шепчет: а теперь возьми сигарету, закури...

– Да, – подтвердил Сергей. – И дьявол сидит в нас. Вот здесь, – показал себе на грудь. – Вот и сейчас просит. Знаешь, о чем? Просит: сначала выпей еще, а потом закури. Так что давай, наливай, потом закурим, а то мало, не кондиция...

Гриша медленно, с готовностью разлил оставшееся в бутылке вино, получилось по полстакана. Теперь уже Сергей демонстративно показал на стаканы пальцем и сказал.

– Не может быть, чтобы дьявол тебе не нашептал, чтобы ты взял две бутылки, а не одну. Если он этого тебе не подсказал, я его больше уважать не буду. В бога не верю, перестану верить и в дьявола.

– А я верю, – серьезно заявил Гриша, нагибаясь, из-под кровати доставая полную бутылку. – Нет, не в этого дьявола, – кивнул на бутылку. – Я в бога верю.

– А я думаю, что нет его, никакого бога нет, – резюмировал Сергей. – Иначе... Иначе я бы здесь сейчас не сидел, не пил бы эту гадость...

– А может, наоборот?

– Что наоборот? На что ты намекаешь?

– Может, Серый, это и есть путь к богу? Очень тернистый. Нет, конечно, не каждый идет этим путем. Просто я на тебя смотрю...

– И что видишь?

– Ты веселишься – все веселятся, ты грустишь – все грустят. Ты скажешь, чтобы кто-то куда-то не шел... Я же видел, когда сегодня Жорик спрашивал тебя, идти ему или нет... И не пошел бы к женщине, если бы ты сказал...

– Ну, я никогда не стремился быть лидером...

– Понимаешь, Серый, там такие нужны.

– Где – там? Так, все, не темни, давай рассказывай. Все выкладывай, что это за «там», где нужны такие, как я, и где много хороших девушек. Так я понял? Ты меня заинтриговал.

Гриша опять задумался. Потом неестественным для простого застолья, отстраненным голосом спросил:

– Пойдем в собрание?

– Куда? На собрание, ты хотел сказать?

– Нет, в собрание.

– «В»? Именно «В» собрание?

– Да.

– А что это такое?

– Давай пойдем, и сам увидишь. Давай?

– Ну, давай, – беззаботно согласился Сергей. – Наливай.

Еще долго пили, и не только вдвоем, и не только в своей комнате, и не только пили, а и пели, и не только под гитару, а и без... Ведь это было воскресенье, вечер, ночь – апогей активного отдыха, который начинался вечером в пятницу и который не мог сам по себе утихнуть, сойти на нет, а его всегда грубо и больно прерывал понедельник.

Около двух часов ночи общежитие, в основном, утихло. Лег и Сергей, впрочем, не раздеваясь, потому что понимал: жизнь этой ночью еще может дать всплеск, ведь не было ни Васильевича, который мог заночевать у своей женщины, а мог и прийти в любое время, и не было Жоры, тот должен был вернуться. Еще заглядывали ребята из соседних комнат, но уходили – Гриша храпел под одеялом, Сергей, на покрывале, тоже спал. Это с виду, а под веками, на экране воображения продолжалась жизнь, – та, которой не было, но которая должна была бы быть наяву.

Он сам удивлялся, как мог сдерживать себя пьяного, не идти к Оксане. Ведь в данных условиях – это уже классика: выпить и пойти к девушкам. Что-то сдерживало, и, наверное, не насильственный самозапрет, а понимание: она – не такая... Да и он не такой, чтобы тупо придерживаться «классики».

Это было странно и впервые. Он замечал, что все больше отдалялся от нее, но – только физически (реже виделся, уже не старался подойти вплотную, обнять, даже взять за руку), а духовно – наоборот, все больше приближался. В мыслях все чаще разговаривал с ней, пускался в откровения, изливал душу, пытался дать понять, что он вообще-то не такой, как сейчас, пьяница-бетонщик, а по своей сути, по существу, по натуре, по натуре, по душе, по уму, по сердцу совсем другой...

И так же, как все эти годы, еще с девятого класса, ждал, что вот-вот что-то узнает, постигнет, нащупает, откроет истину, найдет смысл жизни, количество перейдет в качество, и все обернется совсем иначе, жизнь потечет иным, полноводным руслом... Так же думал и об Оксане: вот-вот что-то произойдет, что-то он скажет, сделает, что-то изменит в своей жизни, и все у них будет прекрасно, ибо они друг для друга созданы...

«Да, прав был профессор», – думал Сергей об этом чуде жизни, чуде встречи, вновь перебирая в памяти диалоги с ней.

Как объяснял профессор, преподаватель исторического материализма (философ!) в Невинногорском машиностроительном институте, который Сергей бросил после первого курса, – так находят свой генотип. Живет парень, рассказывал ученый педагог, в своем городе, вокруг – много красивых девушек, но он их не замечает, уезжает куда-то, а через некоторое время возвращается и говорит: «Влюбился». Это значит, заключал профессор, парень нашел свой генотип.

В свои двадцать два года Сергей уже знал, какому типу девушек нравится. Не просто нравится, а стопроцентно они – его, стоит только щелкнуть пальцами. Представительницу такого типа узнавал сразу, по портрету – круглолицая, слегка курносенькая, с нежирными, небольшими, зато фигурными, сочными губами, одним словом, смазливая, – и было такое чувство, что ему известно о ней все. С первого взгляда мог сказать, что будет, если захочет: симпатия в глазах быстро преобразуется во взаимный порыв, сближение, все пойдет легко, как бы само собой... А насчет понравится – то просто не встречал таких, которые при необходимом знакомстве оставались бы к нему равнодушными, а большинству и не требовалось для этого знакомства, достаточно было одного взгляда. Казалось, среди тех, у которых на лице было написано, что они – его! и следовало искать свой генотип. Однако же происходило иначе, почти «по профессору»...

Оксану нельзя было назвать ни смазливой красоткой, ни писаной красавицей – просто на ее лице не было ничего лишнего. Прямые каштановые волосы, не длинные и не короткие, очень

гармонировали с глазами, тоже похожими на два молоденьких, свежих, блестящих каштана; прямой, средней величины нос и четко очерченной формы губы (с тонкими, выразительными ободками, напоминающие облачко, из-за которого вот-вот появится солнце), будто подведенные карандашом, хотя безо всякой косметики, не очень фигурные, но гибкие, – выражали ту скромную строгость, за которой часто таятся полнокровная чувственность и несгораемая женственность. Оксана, казалось Сергею, была похожа на вдруг ожившую античную царицу – женщину какой-то не сегодняшней, не броской, не киношной красоты, а такой, к которой нужно было присмотреться, которую нужно было постигнуть. А уж когда постиг, не захочется другой.

Он со стыдом вспоминал, как с ней познакомился, каким глупцом себя выставил... Она, после первых мимолетных встреч в формовочном цехе, когда пора уже было знакомиться, первая спросила:

– Вы кто?

– Я кто? Я прекрасный человек! – воскликнул он, зная, что шутка эта не оригинальная, списанная у какого-то киногероя.

– Да, – улыбнулась новая знакомая. – Не такой я самокритики ожидала.

– Какая самокритика! Зачем это скрывать? Я хороший человек. И если вы смотрите, хоть как-то иногда смотрите на парней, то нечего смотреть. Никого не высмотрите. Потому что вот он я, перед вами, красивый, сильный, умный, скромный, самый лучший...

– Да, согласна. Особенно – скромный...

И, несмотря на такое бахвальство – мальчишеское, глупое, беспричинное (конечно, он был под хмельком, да и кто же знал, что эта – не такая, как все?) – не потеряла к нему интерес. Второй разговор уже был и серьезнее, и приятнее, и вначале такой многообещающий...

– Как ты попал в Невинногорск?

– А куда же мне попадать?

– Мне кажется, ты должен быть где-то в Москве, учиться в институте...

– Погоди-погоди. Ты что, против того, чтобы я был здесь?

– Нет, я не против... – она замолчала.

– Ты не против, чтобы я был именно здесь? Сейчас? Возле тебя? – Он приблизился к ней вплотную.

Она, улыбаясь, отошла на шаг.

– Ты права... и не права. Все это уже было – Москва, институт...

– А расскажи... Нет, расскажи все сначала.

– Как сначала, всю биографию? Боюсь, это будет неинтересно.

– А хоть и всю. Мне интересно.

– Нет, сначала ты о себе.

– А что мне о себе рассказывать? Я технолог, попала сюда после техникума, по направлению... И все. Живу просто.

– О как это прекрасно, жить просто! Я лишь мечтаю об этом.

– Почему?

– Да вот, не знаю. Не получается.

– Почему же ты здесь? Почему не захотел учиться?

Спросила это с чувством удивления и сожаления, будто что-то в ее собственной жизни зависело от того, учится он или нет. Это равнодушие и решило вопрос: стоит или нет рассказывать ей все? Нет, все, конечно, не расскажет. Не нужно ей знать все, а внешние факты жизни – можно...

– Поехал я после школы поступать – куда бы ты думала? – в МИМО. Вообще, насколько я знаю, факультетов международных отношений всего три в Союзе – есть еще в Ленинграде и в Киеве. Я ведь в себе уверен, я – это я! Почти гений, почти бог... без пяти минут. Оценки в аттестате – «хорошо» и «отлично», одна тройка, правда. Но я же знаю, что не хуже круглых

отличников, захочу – выучу все, а главное – полон сил и решимости. Стою в очереди сдавать документы, очередь длинная, медленная. Слово за слово перекинулись с парнем передо мной, оказалось, он после армии. И когда я ему сказал, кто я такой и на какой факультет поступаю, – надо было видеть его глаза. Я представляю: такое выражение у него было бы, если бы вдруг ему объявили, что вторично забирают на два года в армию. Удивленно смерил меня ироничным взглядом с ног до головы, видимо, посмотрел, как я одет, потом спросил: а родители твои – кто? Я ответил: никто, отец рабочий, мать библиотекарь. Он покачал головой сначала сверху вниз, потом со стороны в сторону. И сообщил: сюда поступают только сыновья больших «шишек». Каких «шишек», спрашиваю, например? Не ниже первого секретаря обкома, был ответ. Я, говорит, хотя и льготы имею после армии, решил тихонечко попробовать на «научный коммунизм», – есть, вроде бы, такой факультет, куда конкурс относительно небольшой, да и то – это лишь попытка, а надежды мало. Единственная, говорит, надежда – это родная партия, в которую вступил в армии... Я все это послушал, только улыбнулся: «Посмотрим, мол, кто на что горазд»... Ну, в общем, все это долго рассказывать и вряд ли интересно, – Сергей сделал паузу, решил проверить ее реакцию.

– Нет-нет, продолжай, пожалуйста, это очень интересно... Ну что: ты улыбнулся и подумал?.. – живо откликнулась она.

При этих словах он и здесь не сдержал улыбки – от самодовольства.

– Ну вот. Сдал я все-таки документы. А остановился у своей двоюродной тети – тети Маши, в Тушино живет, у нее сын, как я, мой троюродный брат, получается. Я все это ей рассказал и начал собирать манатки, думаю, по пути на автовокзал заберу документы. «Ты не спеши, – говорит тетя Маша, – опускать-то руки». Оказывается, у нее есть какой-то родственник-профессор, преподаватель в МГУ на философском факультете, закончил Высшую партийную школу, женился на дочке профессора, «конечно, потом ее бросил», – это так мне тетя сказала. И пообещала, сделает все, лишь бы этот профессор помог. Мне стало интересно, и я отложил отъезд.

И вот, гуляю однажды по Москве. Прошелся по Красной площади, пересек Манежную, иду себе беззаботно, дышу Москвой, оказался возле библиотеки, знаменитой «Ленинки». Стою и смотрю: из храма знаний выходит молодой человечек, именно человечек – с озабоченным видом, низенького роста, пухленький такой, бледный, в очках и, самое интересное – плешивый. Хотя молодой. Я долго на него смотрел, – вот, думаю, до чего наука доводит. И не успел я пройти километра, как увидел другую картину. В Александровском саду бежит тоже молодой парень – в майке и шортах. Это был поразительный контраст: загорелое крепкое тело, мышцы играют, переливаются, не плешивый, лицо спокойное, волевое и – счастливое! Я остановился, как вкопанный: меня осенило! Я понял (тогда мне казалось), в чем счастье, в чем смысл жизни – не в учебе, не в просиживании часами и сутками над книгами, ради того, чтобы добыть эту жалкую ученую степень, жертвуя здоровьем, лишая себя возможности дышать свежим воздухом. А именно в движении, в том, чтобы дышать полной грудью, чувствовать в себе первозданную энергию и наслаждаться ею. В тот же день я тихонечко собрался и уехал домой. Потом брат мне говорил, троюродный: «Зачем же ты уехал, мать уже начала за тебя хлопотать»...

Сергей умолк. Конечно, не упомянул в своем рассказе о той дилемме, которая стояла перед ним давно: что важнее – тело или дух? Не в философском смысле, а на практике – он всегда решал вопрос: чему отдать предпочтение – развитию тела, мышц или развитию интеллекта, духа? Много раз менялись эти приоритеты, но их было всего два. И если сейчас выбор уже не стоял так остро, то это вовсе не означало, что появилась какая-то третья ценность, а означало лишь то, что никаких ценностей уже не было. Он боялся в этом себе ясно признаться, но чувствовал, что третьего ориентира нет, а первые два потеряли актуальность...

Оксана словно что-то обдумывала, глядя на него посветлевшими от весны (разговор был в апреле), теплыми глазами. Вдруг тихо произнесла:

– Необычный человек...

– Что? Как ты сказала?

– Да нет, ничего... А что было потом?

– Это уже прогресс: одна девушка меня называла странным человеком. А «необычный» – конечно же, лучше...

И тут же пожалел, что сказал такое, даже покраснел. Не нужно было говорить, потому что «странный» – вроде как «ненормальный», то есть, как говорят, «с приветом», а «необычный» – надо понимать, редкий, уникальный, даже почти гениальный. Между двумя понятиями – пропасть, такая же, как и между девушками, из уст которых эти слова прозвучали. Станным его называла Люда во время службы в армии, к которой бегал в самоволку, на свидание. Глупенькая в общем, смазливенькая текстильщица. Теперь получилось, что он поставил их почти рядом...

– И какая же девушка тебя называла странным?

– Да... Не стоит о ней говорить... – И снова почувствовал, как кровь ударила в лицо, ведь получается, что все же говорят о ней, да и себя он выдал: зачем же связывался с той, которая «не стоит»?..

– Ладно-ладно, – с шутливым укором мягко сказала Оксана, и тем выручила его. – Так что же было дальше?

«Какая умная. И чуткая», – мелькнула благодарная мысль.

– А дальше все пошло по логике. Раз я не захотел учиться и выбрал здоровье, физическую мощь (поднял руки и сжал бицепсы, которые обозначились под рубашкой, она потрогала рукой и сказала: «Ого!»), следовательно, сам бог велел мне идти в армию...

Конечно, не рассказал, как почти месяц лежал в больнице на обследовании, – врачи решали, нужно ли с таким сердцем призывать на срочную службу. Да так и не смогли однозначно определиться, и если бы он не хотел в армию, то и не забрали бы. Получилось, сам решал. Его спрашивали: «Болит?» и он мог отвечать, что угодно. Сказал: «Ничего не болит» – назло всему миру и себе тоже. Потом, спустя несколько месяцев был момент, когда сильно пожалел о таком выборе.

Сердце действительно то ныло, то кололо, то было ощущение, что вместо него – какая-то бездонная дыра, уходящая по телу в землю и прикалывающая его намертво к земле. Он тогда просто испугался и решил во что бы то ни стало комиссоваться, даже если придется врать, юлить, симулировать. Пришел в медсанчасть, к самому начальнику, пожаловался. «А ты знаешь, – грубо перебил его, не дослушав, холеный, пахнувший не медикаментами, а парфюмерией, майор, – что даже с пороком сердца люди мастерами спорта становились? Так что иди, ничего не бойся, работай, занимайся спортом».

Решимость комиссоваться вмиг иссякла. Сменилась отчаянием, часами и днями трагических раздумий, которые закончились тем, что и вправду стал делать так, как говорил франтовитый майор-медик (потом – был ему благодарен), – как бы не по его совету, а, опять же, назло – ему, себе, всему миру. По принципу: смерть или победа. Намеренно искал самую тяжелую работу, хватал побольше лопату, поувесистее лом. От зарядки больше не уваливал, наоборот, вставал раньше и давал на тело двойную (по армейским требованиям), тройную нагрузку. И – странно: забыл о сердце. А на втором году, когда служить стало легче, больше не донимала «дедовщина», несколько месяцев бегал по утрам с нагруженным песком солдатским вещмешком на спине, проводил много времени на спортплощадке и достиг такой физической формы, которой не мог похвастаться даже в лучшие школьные времена. Правда, в последние полгода службы руки тянулись больше к бутылке (так было положено жить «дедам»), чем к брусьям и перекладине...

– Вот я и пошел в армию, – продолжал рассказывать о себе такой приятной и внимательной слушательнице, которой еще не было в его жизни. – Говорят, это школа мужества, школа жизни, да?

– Да, – улыбаясь теплыми глазами, подтвердила Оксана.

– Все верно. Там я и научился... пить. Да, пить водку. В основном – вино. Старослужащие таким образом передавали боевой опыт молодежи...

Он, конечно же, не собирался рассказывать, как еще до армии, в Дыбове, несколько раз выпивал сам – брал бутылку вина и уходил с ней, незаменимой подругой, в парк. И не думал рассказывать, что и здесь, в Невинногорске, в последнее время такое случалось все чаще, уезжал один, с бутылкой вина, на речку...

– Я служил в Минске, недалеко от полка дымил огромный текстильный комбинат, точнее, он назывался камвольный комбинат, на котором работало восемь тысяч женщин, половина из них – молоденькие...

И запнулся. Не хватало еще рассказать Оксане, как он познакомился с Людой, которая жила в общежитии. Ему, уходя на дембель, передал ее Вася Плевин из Костромы. Для Люды это было обычное знакомство – один парень уходит, знакомит ее с другим, который даже лучше первого во всех отношениях (так, во всяком случае, говорила Сергею). А по-солдатски такое знакомство называлось иначе: «Сдать-принять по описи», как боевую технику, машину, например... И, конечно, не стал рассказывать, что Люда была первой женщиной в его жизни и что связано «первое» было опять же с пьянкой, как и все последующее по женской части... Теперь уже не стал краснеть, а по-взрослому уточнил:

– В общем, армия научила жизни, к сожалению – не лучшему, что в ней есть. Если первый год службы – страшное, черное время, то на втором году – «черные дни миновали, час искупленья настал», очень веселое время... Случай один был, на первый взгляд, не очень приятный, но – все равно веселый. Рассказать?

– Расскажи!.. Мне правда, интересно, – порывисто отозвалась Оксана.

– Нет, теперь я уже не такой... мечтатель, не знаю, к сожалению или к счастью... А дело было так. Пошел я в караул. Все ходят в наряд, так называемый: или на кухню, пахать, помогать поварам готовить еду на весь полк, или в караул, охранять важные объекты в части, для чего выдается боевой комплект, автомат и два рожка патронов. Среди охраняемых объектов есть пост номер один, возле полкового знамени – святыня, считается, и тебе внушают, что охранять ее – крупнейшая честь для тебя. Выпала и мне однажды такая честь. А прослужил я уже почти год, не салага. И вот – ночь, тишина, я возле знамени, овеванном боевой славой отцов и дедов, в штабе полка. Два часа нужно выстоять, потом тебя сменяют; два часа сна, два часа бодрствования – и снова на пост. Надо, естественно, стоять на любом посту, а возле знамени – тем более. Но никого нет, мне уже и сидеть надоело, спать нельзя, в любой момент может зайти начальник караула с проверкой. И я начал мечтать. Как я – на войне, что-то защищаю, действительно святое, родину не родину, а что-то родное. И нападают на это родное вооруженные до зубов вражеские десантники – уже вскрыли дверь, уже на первом этаже орудут.

Я тихонько отступаю, прижимаюсь к стене, беззвучно снимаю с плеча автомат, снимаю с предохранителя... Десант уже на лестнице, один поворот, и они выйдут прямо на меня, – знамя в торце коридора, спрятаться некуда, да и не привык я прятаться. Я падаю на колени, скидываю автомат и... прежде чем осознаю, что это лишь игра воображения, нажимаю на спусковой крючок... Ты знаешь, как стреляет автомат Калашникова и какие там пули? Такой ужасный, бьющий по перепонкам треск, его слышно за километры. Короче, выпустил я очередь в стену, хоть увидел вблизи, как бьет «Калаш». Ну и тут началось. Представь себе: тихая ночь, мирное время и вдруг стрельба в части, настоящая, да не просто в части, а в штабе!.. Весь полк на ногах, командиры на ушах, через двадцать минут приезжает генерал – начальство тут же, недалеко живет, меня – под арест, на «губу». Потом смеялись, это – потом... А через год, когда

я пришел в штаб оформлять документы на дембель, нарвался на начальника штаба, – майор Копытко, уставник образцовый, солдафон, не тупой солдафон, а ученый, академию заканчивал. «Почему ты здесь?» – спрашивает меня своим звериным голосом. «Ну, как же, товарищ майор, на дембель, мол, ухожу...» Он вытянул указательный палец, постучал им по стене и говорит своим чеканным командирским басом: «Каждый квадратный сантиметр этой стены должен напоминать тебе о содеянном преступлении! Пошел вон!» «Есть», – говорю. И ушел я на дембель в самой последней партии...

Оксана чарующе улыбалась. Ему казалось, что ее живые, жаркие глаза как бы говорили: «Вот видишь – правда: ты необыкновенный...» Он подумал, что тут справедливее было бы назвать его «ненормальным» – разве может нормальный человек такое отмочить?..

Второй разговор начала с того же вопроса, что и первый, потому что не получила на него ответ (он вынужден был поверить, что это ее действительно глубоко интересует).

– Как же ты все-таки попал на этот завод в Невинногорск? Не поступал больше никуда?

– Поступал. С другом одним армейским, он сагитировал в Невинногорский машиностроительный. Получилось, я поступил, а он нет, причем у него была рекомендация, а у меня нет, из-за этих стрельб возле знамени я ее даже не просил, никто бы не дал. Но... я наконец-то понял: точные науки не для меня. Хотя математик у нас был интересный. Когда перед зачетом или экзаменом мы приносили ему коньяк, он говорил: «Все математики пьют, но не все, кто пьют – математики», брал бутылку и на пять минут уходил... Короче, я понял: в этом институте не найду свое призвание и после первого курса бросил, забрал документы и приехал в родной Дыбов.

– И как же мама к этому отнеслась?

Сергей не понял, то ли ее действительно интересовала его мама, то ли специально об этом спросила, чтобы сделать ему приятное. Даже если специально, то это говорило лишь о ее чуткости.

– Ну а как? Как любая мать... Я ей ничего сначала не сказал. Несколько недель она украдкой посматривала на меня, пока мне не надоело, и я одним словом объяснил: «Бросил». Если бы она не донимала этими взглядами, а потом и вопросами типа «Что же ты дальше думаешь делать?», может, я и не уехал бы. Она не только спрашивала, а искала варианты, и не нашла ничего лучше, как предложить снова идти работать на Дыбовский ремзавод, где я работал до армии. Я понимал: да, конечно, завод, ничего мне больше не светит, только – не в Дыбове. Значит, опять Невинногорск, но уже в другие двери. Да я, в общем-то, не очень и выбирал, куда бежать – лишь бы от этих немых упреков, от этого Дыбова, народишко там, сама знаешь, забитый, дремучий...

Потом Оксана, будто специально, уже в следующем разговоре, снова вспомнила о его маме.

– Сережа, извини. А можно я задам тебе мамин вопрос: что ты думаешь дальше делать?

– Вопрос-то можно, да вот ответа нет.

– Почему?

– Нет, и все. Честно сказать, Оксана, я не знаю, что делать, как жить...

Ему показалось, что сейчас тот решающий сдвиг, от которого изменится вся жизнь, может произойти. Он уже ей доверился больше, чем собирался, и готов был идти дальше...

– Я много читал... Не то что много, но глубоко... Толстого, Достоевского, «Преступление и наказание» дважды прочел, да и другое... Думал над жизнью... Хотел все понять, во всем разобраться, все разложить по полочкам, но так ни в чем и не разобрался...

Он замолчал. Почувствовал, что прозвучало признание не очень убедительно, хотя был искренен.

– Чем ты обижен? – вдруг спросила Оксана.

– Ничем! – пытаюсь сыграть большое удивление, ответил, будто такой вопрос был совершенно не по адресу.

На самом деле эти слова вызвали глубокое удивление, которого показывать не хотелось, – удивление ее пронизательностью. А излишняя пронизательность собеседника редко способствует приятной беседе. Так и закончилась та первая серия разговоров, которая так хорошо шла – по нарастающей, по сближающей.

Потом они беседовали много раз, впрочем, только на работе – особенно на второй смене, когда, бывало, бригада час, а то и два часа ждала, пока подадут бетон. Встречались не раз и в общей компании, на каких-то торжествах, днях рождения и прочее, но ни разу не было у них свидания. Исключительно по его вине, – всегда вел себя так, чтобы не допустить с ее стороны даже мысли о встрече. Иногда, правда, сам не понимая, зачем, делал все наоборот (однажды даже целый цирк устроил под куполом цеха, с акробатическим этюдом, в ее честь), зато в последний момент обрывал ее возможные надежды на сближение. А все потому, что на сегодняшний день он – обыкновенный бетонщик, типичный пьяница-рабочий. Какая же в таком случае может быть серьезная связь с серьезной женщиной вообще, а с нею, с Оксаной, особенно? Чем дальше, тем больше он убеждался, что она – особенная (своей чуткостью, пронизательностью, душой и умом, то есть тем, что он искал с юности в женщинах), и тем реже он с нею виделся. Однако возможностей поговорить на работе, как бы случайных, ни к чему не обязывающих, – не упускал. И все-таки вспоминал чаще всего те первые, сближающие беседы – ведь дальше началась, что называется, тягучка, которая могла длиться бесконечно. «Что значит бесконечно? Пока она не выйдет замуж?», – думал с тревогой иногда.

И еще один фрагмент из их особенных, платонических отношений не давал ему покоя. Однажды зимой, на второй смене, когда стояли в полутемном коридоре возле ее кабинета, она вдруг спросила:

– Хочешь, я тебе подарю перчатки? Сама связала...

Посмотрел на ее руки, на них были зеленые вязанные перчатки. Не дождавшись положительного ответа, сняла их.

– Держи, – сказала просто, как друг, отдающий другу что-то такое, что всегда пригодится, и положила перчатки ему на грудь (ему пришлось прижать их рукой, чтобы не упали) и быстро зашла в кабинет, закрыв за собой дверь.

Потом долго думал, что бы это значило. По крайней мере, не для того подарила перчатки, чтобы их носить, – с ее-то маленькой ручки на его лапу? Он их взял механически, но смутно чувствовал, что это подарок необычный, что таких подарков, может, в его жизни больше и не будет, и такая женщина, скорее всего, тоже больше не встретится... А ведь она отдавала свою руку, и ему оставалось лишь взять ее сердце...

«Я ничем не обижен!..» – шептал Грохов, видя ее целомудренно-испытующее лицо под закрытыми веками, в который раз убеждая себя, что надо ей все откровенно рассказать, объяснить, почему он такой, что с ним происходит, – объяснить даже то, чего сам не понимал, а вот она поймет...

Он ворочался. Скрежет металлического панцирного матраса отдавался постреливающей болью в висках, перемешивался с пьяным храпом Гриши и с тяжелой, липкой мутью под горлом, – Сергей понял, что уже не уснет так просто. И попробовал развеселить себя еще одним эпизодом из армейской жизни, представляя, будто бы рассказывает эту историю Оксане.

– Возле нашей части протекала небольшая тихая речушка Свислочь, с одной стороны город, с другой речка, стоило прыгнуть через бетонный забор (а это не преграда), и ты уже на зеленом берегу, – рассказывал мысленно себе-ей. – Мне оставались до дембеля считанные дни, максимум месяц, – уже май, считай – лето. Я залез на забор, сижу, наслаждаюсь теплом, солнышком. А на речке молоденькие девушки, школьницы-старшеклассницы плавают на байдарках, тренируются. Подплывают к маленькому мостику, одна вылезает, другая

осторожно садится, легким движением отталкивается. Мне тоже захотелось, никогда не плавал на байдарке. Не долго думая, я спрыгнул и пошел к реке. Девочки охотно уважили мою просьбу (вообще, там солдат уважают), – освободили мне байдарку. Пока вдвоем ее держали возле мостика, я залез, уселся, все хорошо. Потом говорю: «Пускайте!», и только оттолкнулся веслом, видимо, слишком резко, – брык! и перевернулся. Поохотали, и я пошел в полк сушиться. Только высовываю голову из-за забора, а тут командир полка идет со своей свитой. И – пальчиком так: «Ко мне!». Я понял: десять суток «губы» обеспечено. Подхожу, куда уж деваться? Вода с меня течет, как с собаки, одна пилотка сухая, потому что лежала на берегу. «В чем дело?» спрашивает командир, и челюсть от ярости бегаёт. Я ему все прямо и объяснил: хотел, мол, покататься на байдарке, не удержался, перевернулся... Он посмотрел на меня, – а то, что мне осталось два дня служить, видно – и говорит: «Дурак ты, едрена мать!» И пошел своей дорогой, только один из его свиты, зам по тылу, повернулся и показал большой кулак...

Случай этот не развеселил его, не утешил, – доведется ли когда-нибудь рассказать ей? Или, может, такие приколы ему самому уже не интересны, уже не веселят вообще в жизни? Или мало было выпито вечером? Ведь в раздумьях алкоголь быстрее выветривается – давно заметил...

«Я ничем не обижен!.. Я нормальный человек, Оксанка...», – закрипел он пружинами и сдавленными оскоминой зубами. «Как тебе доказать? Я докажу тебе...»

Главного, как именно это доказать, он не додумал, – дверь с грохотом распахнулась, ввалился Жора. Сразу включил свет, не разбираясь, кто здесь есть и кто здесь спит.

– Сержик, ты не спишь? Как классно, что ты не спишь! – оскалил из-под усов и бородки два ряда ровных, не очень белых зубов, вынимая из-за пояса под пиджаком бутылку вина и ставя ее на стол.

– Нет, Жорик, нет... – стал опираться Сергей.

Жора, коренастый, внушительной силы парень – со вздернутой верхней губой, таким же носом и такими же бровями, с растущими вширь рыжеватыми кудрями, из-под которых едва виднелись мочки ушей, – по-деловому поднял руку.

– Я же специально заныкал, – укоризненно показал на семисотграммовую бутылку «Белого крепкого», – спрятал от Вальки, терпел, чтобы с тобой выпить...

– Да подожди! – все еще жмурился Сергей. – Ты на часы посмотрел? Который час?

– Три часа... Да какая разница! Давай, Сержик, вставай, когда мы еще с тобой вмажем?

– Да, это действительно проблема, – оценил шутку Сергей. – Из-за этих пьянок некогда стакан вина выпить. А на работу завтра пойдем?.. То есть сегодня?..

Он уже вспомнил, что был готов к такому ночному продолжению выходного дня, да и граммов двести-триста были сейчас не лишними, для сна...

– А, давай, а то как-то мутно на душе. Смутно и мутно.

В эту ночь они уже не смыкали глаз, и утром пошли на работу, – не выспавшиеся, уставшие от выходных, но – как на праздник, веселенькие.

И так, с помощью вина поддерживая трудовой энтузиазм, работали целую неделю, и мужественно отстояли еще одну пятидневную вахту, как и весь цех, и завод, и город, и страна.

И наступила очередная, такая долгожданная пятница.

11

Идти «в собрание» вызвалась вся комната. «Все – так все!» – авторитетно заявил Васильевич. Худолицый, скуластый, с маленькими, всегда прищуренными черными глазами на серовато-ржавом морщинистом лице, со шрамом на правой части лба и левой щеке (видимо,

добытым в один прием), он любил повторять: «Я с Васильевского острова, с завода «Металлист», – и это как бы подчеркивало его уникальность и авторитет. Но кто желал, мог считать его авторитетным по другой причине – из-за пяти судимостей и двадцатилетнего лагерного стажа. После освобождения ему было запрещено проживать не только в родном Питере, но еще в пятидесяти городах страны, и он, устроившись на работу и получив койко-место в вольном общежитии, осел в Невинногорске, где отбывал последнюю «химию».

– Один за всех, все за одного! – повторил он неувядающий девиз мужского общества.

Гриша, по глазам которого было видно, что он предпочел бы идти в собрание вдвоем с Сергеем, покорно согласился.

Так же общим мнением было решено, что перед столь серьезным мероприятием нужно привести себя в «нормальное» состояние – то есть хорошо выпить, да и «на всякий случай» взять с собой. Что и было сделано.

В маршрутном переполненном автобусе, который вез их в конец города, Сергей сразу заметил кучку молодых девушек, сидевших напротив друг дружки на задних сидениях, одна из которых везла в чехле гитару, – и среди них выделил светлоглазую блондинку, самую симпатичную. Не мог ее не выделить, потому что она была именно из того типа женщин, о которых он почти все знал и которые наверняка хотели бы знать все о нем. Что сразу же подтвердилось – девушка тоже его заметила, дав понять это задержавшимся на нем взглядом. Больше не поднимала глаз, но Сергей знал, что еще раз, как минимум один раз, посмотрит на него, чем скажет все, а до того будет чувствовать его взгляд и думать о нем. Девушка была привлекательна еще и своей скромностью – лицо без краски, и сидела тихо, смиренно, изредка перебрасываясь словами с подругами, которые вели себя так же.

– Это они, – шепнул Гриша, прислонившись почти к самому уху Сергея. Они ехали стоя.

– Что?.. – не понял тот, занятый своей игрой со светлоглазой девушкой.

– Это они, – прикрываясь рукой, повторил Гриша. – Девушки едут туда же.

– С гитарой? – удивился Сергей. Гриша малозаметно, но многозначительно кивнул.

– А эта, блондинка, что, тоже оттуда? – решил удостовериться Сергей. Гриша таким же медлительным кивком даже не головы, а глаз, ответил утвердительно.

– Дело становится интересным, – прошептал Сергей, и Гриша снова принял к сведению сказанное еле видимым, но красноречивым движением головы.

«Вот дела... – подумал Сергей. – Может оказаться, что я не зря туда еду...»

– Как ты считаешь, она натуральная блондинка? – поинтересовался для верности.

Гриша вновь, еще более однозначным жестом, рассеял все сомнения.

Большой одноэтажный дом, который, как рассказал Гриша, был куплен общиной баптистов, состоял, в основном, из одной большой комнаты-зала, куда набилось человек сто. На трибуне мужчина средних лет, в костюме и галстук, сдержанно, но с чувством жестикулируя руками, читал проповедь. Примерно половина слушателей сидела на стульях, остальные, преимущественно молодежь, стояли. Это и было собрание, куда, оказывается, мог прийти любой желающий.

Боковым зрением Сергей ловил на себе осторожные взгляды постоянных посетителей дома, прежде всего старушек. Но их, в отличие от церквей, здесь было немного, а большинство – среднее поколение, были юноши, девушки, и дети, которые вели себя не по-детски спокойно. «Здесь очень внимательно присматриваются к новым людям», – инструктировал Гриша перед тем, как зайти в дом. Особенно, акцентировал, присматриваются к молодым мужчинам, потому что нередко здесь появляются городские ребята лишь для того, чтобы найти себе жену, – девушка из секты, выйдя замуж, будет всегда верной мужу. Такие парни, уже были случаи, входят в доверие, становятся так называемыми «приближенными», то есть почти членами секты, добиваются своего и – исчезают, потому что о боге и мысли никогда в голове не имели...

Со своей стороны Сергей тоже глазами знакомился с присутствующими. Ничего особенного в них не было – обыкновенные люди, жадно слушающие выступающего, как слушают на какой-то творческой встрече известного артиста. Его внимание привлекла еще одна девушка лет двадцати, полненькая, коротко постриженная шатенка, стоявшая неподалеку с закрытыми глазами; ее полнокровные губы что-то шептали, сжатые ладони она держала на груди. «Ничего... – отметил Сергей. – Что она здесь делает?..»

Вдруг увидел знакомое лицо: точно – крановщик козлового крана, который складировал готовые бетонные изделия, вывозимые из их цеха. Сергей вспомнил, как когда-то этот крановщик («козловщик» – тогда назвал его Сергей) просто вывел его из себя: отказывался работать, потому что Грохов, цепляя панели под краном, якобы не желал выполнять какие-то правила техники безопасности. Сергей тогда сильно возмущался, кричал, ругался матом, угрожал... Больше всего злило, что машинист крана хранил олимпийское спокойствие – не только не отвечал такой же руганью, а даже рядовое, «рабочее» грубое слово не прозвучало. И ничего нельзя было сделать – Сергей, разъяренный, махнув рукой, так и ушел: пусть бригадир разбирается... Сейчас машинист, упитанный мужчина среднего возраста, с блаженным лицом сидел на стуле, держа на коленях девочку лет четырех. «Так вот в чем дело! – догадался Сергей. – Вот по какой причине он был спокоен, – им же нельзя ни пить, ни курить, ни ругаться. Ни... расстраиваться от земных, суетных дел? О, так это мне нравится...»

В углу комнаты взглядом нашел и ту девушку, с которой взглядом же познакомился в автобусе. Заметить ее было нетрудно, – ее золотистые волосы светлым облачком озарили половину зала. Здесь ее лицо, освещенное светом большой люстры, было еще красивее. «Она что, действительно верит в бога? – смятенно думал Грохов. – Неужели?.. Да, точно, сто процентов...» И вдруг его пронзила грешная мысль: а что, если и впрямь поискать здесь жену? Да что искать – вот она стоит, молодая и красивая, скромная и... святая. В сравнении с ним, и правда, святая. Неужели такой и будет, чистой и непорочной? Всегда?..

Если бы он сейчас был трезв, то устыдил бы себя за эту мысль. И не от самого желания, точнее – пока лишь намек на желание, стало бы стыдно, а оттого, что повторяет тех ребят, которые приходили сюда с низменной мирской целью, что не оригинален, что подумал так, как думали другие, о чем и подозревали настороженные собравшиеся тут прихожане.

Сергей посмотрел на своих друзей. Гриша стоял с закрытыми глазами, поднеся руки к груди, точно как та шатенка, только губы двигались меньше, хотя тоже что-то шептали. Вот открыл глаза, потому что покачнулся, сделал быстрый небольшой шаг в сторону, обрел устойчивость и снова сомкнул веки. Жора переминался с ноги на ногу, и ни руки, ни губы, ни глаза его не желали впитывать благодать этого дома, он все время вертел головой, будто ища кого-то. Встретившись взглядом с Сергеем, стал делать знаки, мигая одним глазом, указывая на дверь, а рукой слегка похлопывая по животу, – там, под пиджаком, была бутылка. Сергей жестом попросил подождать. Васильевич нешироко, плавно шатался взад-вперед, глаза то открывались, то закрывались, этого почти не было видно, поскольку сильно щурился, и вроде что-то нюхал – при наклоне слегка, по-собачьи, вытягивая вперед лицо и втягивая носом благодатный воздух.

Тем временем человек на трибуне – главный пресвитер, как потом узнал Сергей, закончил проповедь. Его брови были жалостливо изогнуты, глаза влажные, устремленные ввысь, – в конце своего выступления он проникновенно рассказывал о каком-то случае божественного исцеления. После него на трибуну вышла пожилая женщина, и тоже вдохновенно, хотя и без слез, поведала, как божественная сила и вера в Христа спасла от неизлечимой смертельной болезни ее знакомую, и та родила детей, живет в здравии и счастье и каждый день благодарит господу.

Потом в углу зала, возле трибуны, началось движение, стало просторно, люди отодвинулись, – там было возвышение, на сцену вышли три парня и три девушки и спели под гитару

песню во славу всевышнего. Сергей очень хотел бы видеть среди них белокурую незнакомку, тогда бы еще лучше ее разглядел. Впрочем, с другой стороны, ее отсутствие на сцене можно было истолковать как дополнительный плюс – не пела из скромности...

Затем мужской голос из задних рядов стал громко объявлять приветствия от сестер и братьев из Архангельска, Алма-Аты, других городов страны, и даже из Канады. И уже в самом конце собрания по рукам пошло какое-то сито, выяснилось, в него собирались пожертвования. Бросали, кто сколько мог. «Может, это и есть настоящий смысл собрания – собрание...» – опять грешным образом подумал Грохов. Когда сито подплыло к нему, уже было наполовину заполнено, виднелись даже «десятки». Сначала Сергей подумал, что не стоит юродствовать: раз не верит в бога, нечего и давать на нужды верующих, лицемером никогда не был. Все-таки рубль бросил, ведь скрягой тоже никогда не был. Гриша положил трешку, Васильевич тоже рубль, Жора сделал вид, что неожиданной процедуры вовсе не заметил. («Это сколько ж туда бутылок набросали! – говорил с воодушевлением потом. – Бутылок сто, не меньше!»).

Когда собрание закончилось, все вышли во двор, расходиться не торопились, – группировались кучками, делились новостями, обсуждали жите, как нормальные люди, похожие на жителей маленького городка, вроде Дыбова, встретившихся в выходной день на рынке. Жора схватил Сергея за руку, предлагая немедленно отойти в тенистый уголок двора, под дерево, и «раздавить», наконец, бутылку. «Можете пока без меня, – кинул Сергей и добавил: – Нам с Гришей оставьте на потом!». Был озабочен другим: попросил Гришу сейчас же – ненавязчиво, культурно – познакомить его с той светловолосой девушкой.

– Ведь ты знаешь, как ее зовут? – с уверенностью спросил.

– Знаю, – признался Гриша. – Лариса.

– Почему сразу не сказал?

Гриша замялся, потом опять откровенно высказал, что думал.

– Я знал, что ты ее заметишь, будешь знакомиться... Только я не этого хотел...

– А чего же ты хотел? – удивился Сергей.

– Чтобы ты с людьми поговорил, присмотрелся...

– Ну, так я и присмотрелся, – улыбнулся Сергей. – Вот с ней и поговорю. Ты же сам сказал, с людьми, а она что – не человек?

Пока искал ее глазами, подошел крановщик, пожал руку Грише как доброму знакомому и с такой же приветливой улыбкой протянул руку Сергею.

– Сева.

Сергей, ответив на рукопожатие, почувствовал, каким глупцом был, когда орал на него, и ему захотелось извиниться. Тем более, показалось, Сева был рад ему даже больше, чем Грише.

– Да, я вас помню... Когда-то был случай...

– Не надо вспоминать, – дружелюбно прервал его Сева. – Мы все нормальные, хорошие люди.

Сергей не мог не поверить в искренность Севы. Оказалось, у него пятеро детей, он доволен жизнью, счастлив, – сам, его родители, его жена и, по его утверждению, дети, – все верят в бога, регулярно посещают собрания.

– Ну, как Вам у нас?

Сергей двинулся было искать Ларису, вдруг снова повернулся лицом к новому знакомому.

– Слушай, Сева, давай на «ты», давай? Я хотел кого-то спросить, из ваших, один вопросик есть, интересный...

– Спрашивай, пожалуйста. Если я не отвечу, мы пресвитера пригласим.

– Подожди, – Сергей понизил голос. – Именно о нем и речь. Скажи, ты веришь ему?

– Конечно, верю.

– Нет, я не в том смысле, не в идейном. Вот вы собираете пожертвования. Как эти деньги расходуются, вы контролируете?

– Нет. Мы верим тем людям, которые их расходуют.

– Куда деньги идут, меня не интересует, ваше дело. Но община, то есть рядовые прихожане, как ты, можете потребовать отчет у пресвитера?

– Зачем? – удивился Сева.

– Смотри... Я изучал вашего главного проповедника на трибуне, несомненно, умный мужик. И превосходный актер, если может напустить на глаза слезы. И я голову на отсечение даю, что он ворует. Половину ваших денег кладет в карман...

– Нас это не интересует, – спокойно ошарашил Сергея Сева. – Мы ему верим.

– Погоди, как не интересует? Он вор! Я по глазам вижу!..

Сергей почувствовал, что Гриша легонько тянет его за руку. К ним подходили люди, Гриша, видимо, давно заметил, как некоторые прислушиваются к разговору.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.